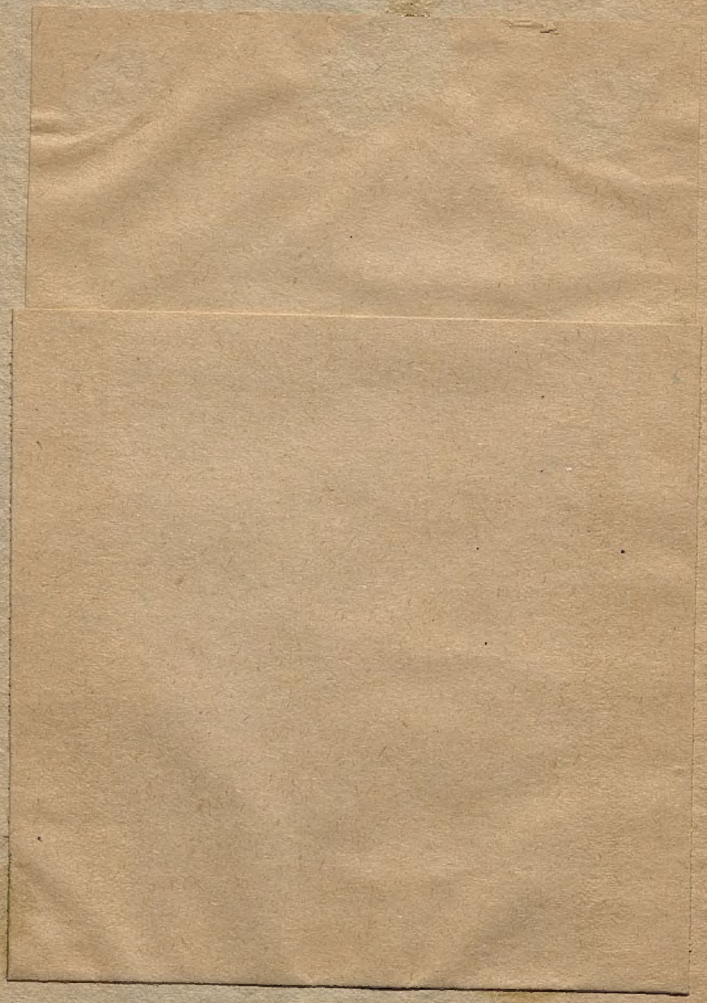
ГИ 200 р
О-524

ПУШКИНСКИЙ СБОРНИК

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
УКРАИНЫ

Дровер. 1930 г.



ГИ200
О-524 р

ОКТЯБРЬСКИЙ СБОРНИК

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
УКРАИНЫ
1924

2-й экз.

Н

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ 2005

89171 - 8

ГИ200
О-524 Р

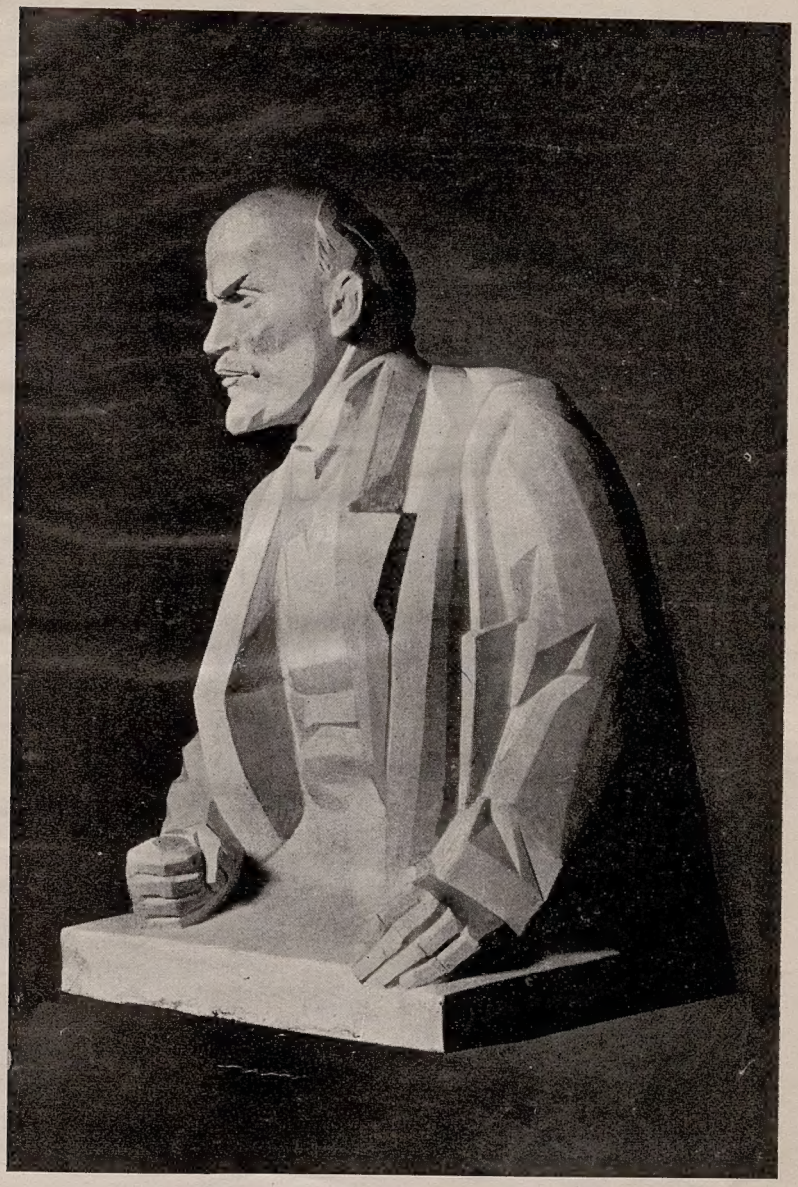
Библиотека ин-та Марксизма-Ленинизма при ЦК КПСС
747343

КАБИНЕТ ИСТОРИИ К. А. ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ

282 ~~3750~~ 8787
72

СФ 40847

Типография Государственного Издательства Украины им. Г. И. Петровского. Харьков.
РУП № 10198. Зак. № 3626.
Тираж 10.000 экз.
1924



В. И. ЛЕНИН
скульптура И. П. Кавалеридзе

Красная песня

Как наезжали прибоем
В лукавые зеленя,
Ветер кричал — любое
За музыку Октября.

Разве не вызорен день,
Или не вызвана степь
Буйною лавой видений
Вырыскать черную тень?

Дремь деревень разрывай,
Кована сталью радань —
Красное имя России,
В топоте армий греми!

Вечера синее вече
Вденем в упругое стремя,
Нам и в зоране зари
Сказано: взором гори!

Да, на далекие версты,
Да на степные гоны
Выдан нам солнца перстень
Выезжен красный конь.

Григ. Петников

Октябрь на Неве

1

Еще не опала пена событий,
И не остыли июльские дни,
Как ветер — октябрь громоздил
от Кронштадта,
Зыбясь и сзывая,
На приступ волны.
Еще не ухали пухло пушки
Петропавловских верков,
И Зимний, и Площадь,
И Марсово поле
Оло́нит тяжелая лень,
Но в сердце певучем
Осыпан червонной метелью
Литейный,
Дорога — как день без названья,
И ветров гремучая рада
Сзывалась
На катеров краткое — ра - а.

2

В памяти остановись, день!
Нет, не останавливается кровь в венах,
Если молния — твой рулевой,
И по - новому бьется

Стальное сердце завода —
Прибой и призыв:

Рей в синеве виденья,
Будь музыкою грозы.

3

Запомнилось небо — осенним полем,
Ржаные горячие речи и день, что
Врос Тучковым Буяном
В серую пьянь Невы...
Рассвет вставал и ложился,
Тяжелый и хмурый,
На глыбах растерянных туч,
А когда приходили сумерки,
Казались, как никогда, рдяными, резкими,
Ветер, как никогда, терпкий,
Ворвавшись ордою в город,
Развёртывал полотна лозунгов,
Давал последний пароль:
Серп,
Отзыв —
Утренняя заря.

И зовы были сведены
В единый шаг весны,
О, синева виденья,
О, явь иных новин.

4

Итак, был конец октября.
Стужей захлестнутые,
Кратко перекликались пригороды,
И, сжатый тревогой, как улей, гудел
Васильевский Остров.
И было будто за полночь,
В заплачке волн — теней
Он шел, дымил, маяча,
Тревогой пристаней.

Как песнь чеканится рекой,
Как песней покоряют горы,
Так ветром голубой огонь
Был выбит в этот красный вторник.

Он был заворожен и вызван
Сторожким летом сгоряча,
Какой мятежный день на призыв
Упорной рады моречан.

На имя новое скликались
В литейную мятель, когда
У Николаевского встали
Сереброгрудые суда —

Вам от немолчных райн — смятенье,
Нам — огненная стезя
Гореть, врезаясь шалым гребнем,
Зари в лохматые леса.

Морская осень. Ржавой рдянью
Клоня гранитые лета,
Уже кипят твоей грозанью
И ждут с тобою рассветать.

Слышны отдаленные гулы.
Пулемет и лёт песни.
Сбиты седые валы.
Города шаг.
Лентою опоясан припев
Идущих:

„Рей в синеве виденья,
Будь музыкою грозы!“

Григ. Петников

Рассказы об Октябре

I

ЧЕЛОВЕК ЗА ВЕТРОМ

Я чувствую, как подошвы мои надолго пропитываются соком тлеющих осенних трав. Моя спина прислонена к коре влажного, истощенного зрелыми битвами, дерева.

Неназванная дорога проходит мимо меня.

По ней грубо мечется неназванный ветер.

Как я назову свои мысли? Их огненная одежда наедине с моей душой.

Их цвет — полновесный жадный цвет осенних листьев.

Таким цветом наполнена неназванная дорога, мчащаяся мимо меня; ветры наших душ и минералы пустыни, растерянно застрявшие среди ошалевших от осеннего сладострастья деревьев.

Ветер за моей спиной, ветер за моим деревом.

Плотоядно погибая копытами в пленяющей грязи, скачут мимо всадника обозы и грузовики.

Я не знаю, какого цвета флаги их выстрелов.

Но мое сердце, уверенно принимающее отдых, оно жизнью своей знает этот цвет осени.

Деревья, по-братски обнявшись, несутся вместе с повелительным ветром. Я, бледнея кровью, словно заморозки перешли в мои жилы, сопровождаю стремительный бег.

Здесь нет пленных.

Здесь и вчерашний и сегодняшний день повергнут в исступление.

И потому воспоминания, как смертельные раны.

Огромное дерево, из корней его растут сверстники мне, обнимает меня, сопровождая в беге.

Нас ждет холод, мы догоняем лето. Мы верим в тепло.

Мы свистим и поем. Мы несемся.

Листья и волосы наши повергнуты в исступление, колени наши подгибаются.

Мой друг нашел меня и трогает за плечо:

— Отдохнул?

— Отдохнул! — радостно лгу я.

— Тогда пошли!

Подлинно: неназванная дорога. Она горит от последних листьев. А как прекрасен их подмоклый стремительный цвет.

Я теперь под ветром.

И потому-то воспоминания коротки, исступленны, как смертельные раны.

Подлинное счастье всегда в ранах.

Один сук, упавший, когда я отходил от дерева, имел подобострастное лицо клюки, посоха.

А моя трость — железная и удивительно походит на ружье. Подобострастное лицо клюки осталось гнить, а я останавливаюсь, когда под встречными ветрами моя железная трость начинает ржаветь, покрываться ранами.

Раны эти не смертельны.

II

ЧЕЛОВЕК ЗА ЛАМПОЙ

У меня была явка.

Это я вспоминаю прошлое.

В саду, прищурясь, умирала воскресающей, а потому и радостной смертью рябина.

Тишина — приятное ожидание последних осенних ветров — делала сад необычайно обширным.

По-прохожему пахли тлеющие в прели листья.

Один из них впился в мой рукав и, напрягаясь, старался казаться зеленым. Я рассмеялся в его раскосое лицо.

А у входа в дом я нашел гусеницу. У нее была удивленная синяя мордочка. Да, действительно: зачем ей родиться осенью? И с непонятным отвращением я бросил ее оземь.

Лист, упавший с моего рукава, сломался под ее тяжестью — так он устал казаться молодым и так, в сущности, был хлипок.

А в комнатке меня ждала гостья.

Она, не глядя на меня, сунула в мои пальцы записку о явке и торопливо сказала:

— Я завтра уйду очень рано. Спать буду на диване. Кулич у вас?

— Да. Он в углу.

Она, смущенно и упрямо глядя в пол, стала помогать мне убирать чай. Походка у нее была неверная, цепляющаяся.

Мне показалось, что розовенький узелок в углу гостья от страха переставила. Я даже с усмешкой представил, как она держала его. Ладонь, наверное, вспотела.

Или это я сам, стирая розовым платком пот с ладоней, переставлял, без нее, поминутно узелок?

В узелке была бомба.

Не боюсь ли я бомбы больше, чем моя гостья?

Ее опущенные глаза, преодолев страх, не могут преодолеть его на моем лице.

За второй чашкой чая она, со звоном раздробляя необыкновенно мелкими зубами сахар, спросила меня, где я служу и сколько получаю.

Затем, совсем неожиданно, о саде и как по этому саду, дома, в Минске, весной необычайно разливается река.

Сад делается такой, как в банке синей стеклянной.

Из всех ледоходов — этот, рассказанный ею, наиболее ярко удержавшийся у меня в памяти. Или потому, что по профессии своей мне легче представить жизнь по рассказам.

Пожалуй, так. Я, теперь особенно, мало верю своим глазам. Или, вернее, рассказав все, что видели мои глаза, — я перестал им верить.

У круглой „голландской“ печки она повесила сушить свою жалкую синюю жакеточку. Скинула туфли и лампу придвинула к прямому и твердому, как стол, деревянному дивану.

Затем она взяла маленькую пепельницу из раковины, продела в чулок и занялась штопаньем.

Еще ярче, чем ледоход в ее саду, в Минске — я помню желтый свет лампы на ее склоненной над чулком голове. Пробор, разделявший жирные, какие бывают только у евреек, жирные и сильные волосы.

Окрашенная белой краской круглая печь. На вьюшке подвешенная кофточка. Печь отпотела.

Быстро мелькала — как мои смятенные мысли — иголка по бумажному рванью чулка. Нитки смущенно догоняли ее.

На указательном ногте ее правой руки я разглядел небольшое черненькое пятнышко, и оно, повидимому, смущало ее. Она несколько раз дунула на палец.

Я же догадывался, что она должна была сделать с „куличом".

Я штопанье чулок принимал, как величайшее кощунство.

Я думал тогда пышнее, чем теперь. Еще листва сметенных ураганом деревьев может иногда приобщить к моему прошлому мою теперешнюю душу.

Мне хотелось видеть ее рыдающей над огромным красным знаменем или портретом Каляева, или пламенно призывающей меня к жертвам.

— У вас матери нет? — спросил я.

— Есть.

Она, наверное, солгала. Чулки она штопала чрезвычайно умело.

Иголка мелькала все быстрее и быстрее.

Раздражение мое приумножалось. Казалось, иголка мелькала в моем мозгу.

И мне показалось: под окнами кто-то ходит.

Я выскочил.

А она даже не приостановила штопанья.

Упавшие, готовые к погоне, листья неумело лежали на моем пути.

Так же, как дни начинающейся моей жизни.

Я обошел весь сад.

Тишина ютилась всюду.

И улица с нелепыми, словно занозы, деревянными тротуарами тоже была наполнена такой тишиной.

Фонарь без ветра скрипел, причитал на углу.

Там ночной сторож Елисей почему-то, за молчаливость что ли, прозванный пророком, разглядел мою встревоженную походку.

Лицо его тоже побледнело, и первый раз в жизни он сказал нехотя:

— Звезд-то сколько...

Плюнул и отошел:

— А все они зря.

Когда я вернулся, девушка, обернувшись лицом к стене,— спала.

Ее тщательно заштопанные чулки хозяйственно висели на спинке стула.

Утром, в 11 ч. 20 м., она кинула бомбу в самарского губернатора Троицкого.

Грубым, как пули, шрифтом газета сообщила, что террористка, при разрыве бомбы, была тяжело ранена и, не приходя в сознание, умерла через три часа.

III

ЧЕЛОВЕК ЗА ТЫКВОЙ

Казаки заперлись в Кадетском корпусе.

Наш снаряд отбил угол. В бинокль, через площадь, я разглядел стол, убранный для самовара: чашки были разбиты, и на одно мгновение мне показалось, что под диван шмыгнула кошка. Гул второго взрыва потряс переулок, и серые глаза кошки мелькнули, как забытая мысль.

Так три дня обсыпалась эта улица. Комнаты мещан разрезались снарядами, словно ножом. Да, эти дома так же годились для сражений, как сыр для молота.

Наш грузовик, неизвестно почему, долго крутился по улицам, словно шоффер забыл, где Соборная площадь, что перед Кадетским корпусом.

Один раз грузовик запутался в проволоке телеграфа, и шоффер ожесточенно бил проволоку рукояткой револьвера. У него было такое лицо, словно он удивлялся, почему из проволоки не показывается кровь.

И вот, мы примчались-таки на Соборную площадь.

Здесь в кустах сквера застрял фургон, груженый тыквами. Они были огромные и невероятные, как эти дни. Легкая грязь бахчей еще трепетала на их засохших стеблях.

Кони, пригнавшие фургон в сквер, были убиты. Они лежали, неумело воткнув головы в кусты. Сбруя их тоже неумело была окрашена в кровь.

А в тыквах застрял маленький плюгавый человечек с винчестером в руках.

На его голове была детская синяя пуховая шапочка, и неимоверной величины бараний тулуп, как мантия, раскинулся по тыквам.

Он испуганно крикнул мне:

— Наши?

Матросы с грузовика пренебрежительно ответили:

— Наши. Дорогу не можешь найти, братишка? От страху головой в клозет: очень помогает.

— Ха-а!.. Перепутал...

С испуганной болью, под насмешками, синенькая шапочка склонилась к тыквам, и я увидал высохшую, поросшую седым волосом, шею.

Мне даже почудилось: зубы его боязливо лязгнули.

Неприятно видеть чужой страх (не таким ли бываешь сам?) — и я отвернулся.

Но страх, как пропасть, непостижимо влечет к себе, и я опять взглянул на человека в пуховой шапочке.

Он тщательно целился. У него было непривычно сосредоточенное лицо, как у плотника, вдруг бы вздумавшего топором вытесать зубочистку.

Окна обстреливаемого нами корпуса были пусты, но, когда я проследил взгляд человечка, — они наполнились жизнью. Мне даже показалось, что в одном из окон я вижу красный околыш казачьей фуражки.

— Видишь,— подтвердил человечек визгливо:— фуражку. Они, для прибавления смелости, фуражки на себя напяливают, а через такую канитель и погибают. Ать!

И тогда, вслед за его выстрелом, мы ясно разглядели, как фуражка свалилась на подоконник.

Чуть подрожала там она. Наверное десятка три капель упало на нее, а, вместо кокарды, она имела след пули.

И человек испуганно, будто бледнея за свою удачу, пролепетал:

— Я в детстве по белки ходил.

Матросы захохотали:

— Ты чего в тыкву залез? Думаешь, пуля не возьмет, али задницы жалко.

Человечек жалостливо улыбнулся.

— А и верно, угадали, боюсь. Тыква все-таки свое. Я их в детский дом вез, ребятишки теперь, поди, без каши

через меня сидят. Ждут. А тут лошадок белые пристрелили, прямо из окон и кокнули по лошадям. Я в них — за лошадей, главным образом. Лошади у меня были хорошие...

Матросы опять захохотали над ним.

Пулемет, щелкая патронами, затрясся на нашем грузовике.

Снаряд сшиб трубу с корпуса, и густая сажа, словно трубу не чистили целое столетие, покрыла обильно крышу.

Дождь усилился.

Одежда промокла, и выстрелы оттого участились.

Человечек продолжал стрелять все расчетливее, все медленнее, и с каждым выстрелом одним трупом было больше в корпусе.

Подкрепление,— цепь наших солдат поползла по кустам. На одно мгновение установили, было, пулемет на паперти храма. Он, молча, застрял там, плотно усеянный мертвыми служителями.

Сдаче всегда предшествует какое-то особое ощущение.

А тут белый флаг над корпусом появился, как очередной патрон. Никто ему не удивился.

Бледные казаки, с неимоверно вытянутыми вверх руками, показались на крыльце.

— Кончилось! — проговорил я, оборачиваясь к фургону.

Но пуховая синяя шапочка, с красным шариком на верхушке, лежала в грязи. Тощая шея медленно и неимоверно длинно, словно неуверенная в необходимости, переходила в тоненькую бритую головенку.

Я приподнял эту легкую седую головку.

Никогда не прицелятся эти слегка припухшие глаза.

Но раны в голове не было, а от ран в теле он был защищен стаей тыкв.

И с легким презрением я подумал: „от страха".

Я опустил голову и направился посмотреть, как будут принимать сдавшихся казаков, — но тут из кустов выскочил мужик, с кнутом в руке, и с воплем опрокинулся на меня.

— Зачем лошадей-то пристрелили, черти? Господи, вся жисть в таких моих лошадях, а они их, как мух. Домой мне теперь как ехать? Господи! Ни сердца, ни ума у вас нету, одни пули!

Он со всей жадностью крестьянина тряс мое тело и визжал, почему я отнял у него лошадей.

Я указал на умершего в тыквах:

— Да разве лошади не его?

— У такого — да чтоб такие лошади были...

Но тут мужик узнал покойника.

Он с матерками схватил из грязи пуховую шапочку и кинул ему в лицо. Она сползла и сыро прилипла к блестящим тыквам.

Тогда-то я разглядел, что лошади были застрелены не казаками из корпуса, не в лоб, а в затылок, очевидно, с фургона, человечком в пуховой шапочке.

Трепет неясного уважения шевельнулся во мне.

Я поднял тяжелую тыкву, дабы освободить тщедушного мертвеца.

Толстый санитар остановился подле фургона. Со смехом, получающимся тогда, когда трупы стоют не дороже живых, с таким смехом санитар проговорил:

— Ишь, куда утёк, синя шапка!

— Кто?

Он весело похлопал мертвеца по плечу.

— А этот. Из школы утёк, там у нас временный лазарет. Он у нас в койке был, перевязан. Я по нужде пошел, а он и выскочи, отнял у мужика телегу и утек.

— Вояка! А я за ним обязан под пули бежать? Теки, если хочешь!

Нога у человека была раздроблена. Тыквы сорвали перевязку, и нижний слой их окрасился густым малиновым цветом крови.

И лужа дождя под фургоном тоже была желтовато-кровавого цвета.

— Кто он такой?

Но санитар ушел уже смотреть, как расстреливают казачьего генерала.

Крестьянин, рассупонивая хомут любимой падшей лошади, гнусаво, непривычно ныл.

В карманах у мертвого я нашел осьмушку махорки, тетрадочку отсыревшей папиросной бумаги и справку ячейки большевиков электрической станции о принятии в члены партии товарища Дмитрия Заливина.

Справка помечена вчерашним днем, то-есть двадцать седьмым октября тысяча девятьсот семнадцатого года.

КАБИНЕТ ИСТОРИИ К. А. ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ

IV

ЧЕЛОВЕК ЗА БОРТОМ

Павло происходил из переселенцев Полтавской губернии и работал в типографии вертельщиком.

Труд этот заключается во вращении рукоятки, приводящей в действие плоскую печатную машину. Отдаленно рукоятка такая же, как в мясорубке.

В красной гвардии его звали Петухом.

Он добыл где-то оранжевую фуражку и на груди носил огромный красный бант, приколотый булавкой, камень которой, по меньшей мере, был с шестнадцатую фунта. Шутили, что на ночь Павло прикрепляет бант к подушке.

Сам он был широк, с усами, твердыми, как из кости, и с мозолями, похожими на шляпки гвоздей. Когда стоял я с ним рядом, чудилось, будто поднимают лемехом пласты сухой земли.

Нас послали на пароходе „Алкабек" к казачьим станицам. Туда бежали выбитые из городов офицеры, и в одной — Семиреченской — убили двух агитаторов.

Обстреливая одну из станиц трехдюймовкой, мы раскачали пароход, и механик заявил, что если мы выстрелим еще хотя бы однажды, машина сшевелится с постамента, и пароход умрет.

Пустынные холодные берега шли перед нами. Тощие деревья беспомощно увязали в песках.

В одном месте, как во времена Грозного, казаки преградили реку цепями.

Мы опустили на цепи якорь и дали задний ход. И вместе с треском поваленных деревьев, к которым были прекреплены цепи, мы услышали с берега выстрелы.

Двоих из нас убило.

Так мы должны были пройти двести верст сквозь строй казачьих винтовок и пулеметов.

Ледяные ветры качали наш пароход.

Колеса парохода были прострелены и шлепались в воду с каким-то свистящим звуком.

— А я до реки мысль имею, — сказал Павло комиссару парохода, Ваське Запусу.

747343

Веселый и рыжий Васька свистнул:

— Нырни в реку, там и скажешь. Нам до людей надо мысль. А коли с рекой рассуждать, то казаки в два счета тебя в воду снырнут.

— Я до того говорю...

Павло смотрел на воду, словно глаз его не хватал до берега. Вдруг он фыркнул, раздраженно поглядел на Ваську и ушел.

По реке плыли поленья. Это казаки, дабы лишить нас топлива, столкали с пристаней все поленницы в воду.

— Большие шутники, — сказал Васька, — нам на берег не сходить лучше.

И под пулеметным огнем вылавливали мы сетями поленья из холодных и одиноких вод.

Вечером я застал Павла в кочегарке.

Он, напряженно втянув голову в плечи, при свете топки изучал отрывок „Правды“. Огонь топки делал его фигуру мохнатой и короткой, и волоса твердели, словно голова у него была утыкана гвоздями.

— Брешет твой комиссар,— сказал он глухо,— про землю ничего не говорил. А тут написано, что землю мы, как пробьет наш час, так и поделим.

— За что деремся-то?

— Где?

— Здесь.

— А я в городе за фабрики дрался, а сюда поехал — думал, брехня. А тут за нее и деремся.

Он со злостью указал на топку.

— Фабрика тоже. А тут надо землю. Во! Надо думать сидя об таком деле, на месте, а мы фабрику вперед гоним. А Запус-то твой из конокрадов.

Павло отшвырнул со злостью полено.

— Так и зачем же мы пароход гоним? Надо сказать им попросту.

— Казакам.

— Всем. Очень все просто. Даже из газеты понять можно.

Он сжал номер газеты. Ему, повидимому, было легче раскидывать поленья, чем слова.

— То будет!

— Что будет, Павло?

Он ткнул в газету тяжелым, как пароходная лопасть, пальцем.

— Про землю. Слова. У голове будут. А вы фабрику на них гоните. Запус-то твой, верней всего, из конокрадов: привык гонять; пароход — не лошадь, а фабрика...

Он неловко, словно у него на одном плече вис этот груз из тяжелых слов о земле и фабриках, — неловко кривя плечом, отошел от меня. И номер газеты он держал, как нож.

На перекате, где впереди мелькнули красные бакены, пароход вдруг вздрогнул.

Капитан затряс медную трубку рупора.

— Задний ход, задний!

А пронзительный матросский крик ринулся с кормы:

— Человек за бортом!

Но мы не могли искать Павла.

Молчание нашей машины встретили казачьи пулеметы. Якорь не мог достать дна, и пароход беспомощно прибивался к берегу.

— Расстреляю десятого, — кричал, потрясая маузером, Запус, — кто в машину лемех бросил?

— Павло возился, — отозвались кочегары, — он все с лемехом.

Утро застало нас на мели.

Напротив нас, по яру, подымался со степи острокрыший казачий поселок. Видны были синекрылые мельницы, и всадники прятались за их квадратами.

Пахнущий дымом кизяка ленивый ветер несся с берега.

Камыши желтели по ту сторону реки. Чайки были отогнаны пулеметной стрельбой, а в камышах одно мгновение мы видали челноки казаков.

Мы черпаками добывали со дна реки песок, набивали им мешки и устраивали бойницы вдоль борта парохода.

— Подмога придет, — утешал нас веселый комиссар.

А пески тем временем засасывали пароход.

С отчаяния мы вывесили на всех мачтах красные флаги.

Каждый из нас получил по гранате и револьверу. Смертные.

Гранату для казаков. Остальное — в себя.

Так мы отстреливались, проклиная Павла, три дня.

Нет ничего противнее, как стрелять на одном и том же месте. Все равно, что писать на бумаге и стирать все написанное резинкой. Да так до тысячного раза.

Со всегдашней улыбочкой, похожей на те, которыми улыбаются картинки папирос, ходил пароходом Васька Запус.

Запасы иссякли, и револьверы приблизились к нашему сердцу.

Челноки дерзко выскакивали из камышей.

— Через борт перелезет лохматая рука казака, чтобы перепороть мое горло, — так как я знал, что мне не убить себя, — думал я.

Не потому, что трусил, а очень противно стрелять в себя.

Струи воли редели быстрее наших выстрелов. Снег повалил с неба.

Вдруг выстрелы с яра прекратились.

Рев донесся из станицы. Огоньки выстрелов замелькали в степи.

А на рассвете мы разглядели казачий поселок в красных флагах. Мы не верили.

— Провокация.

Запус прыгнул в лодку и поплыл к берегу один.

Через час мы тоже были в толпе казаков, украшенных красными лентами, и среди них я разглядел Павла.

— Павло, не утонул!

Усы у него все были такие же костяные.

— Не-е... Я со словом уплыл...

— Судить стерву придется, — сказал лениво Запус, — пустил лемех в машину, а потом распропагандировал их.

— Павло? Казаков?

— Пойми их, дегтярников!

Утомленный сутулый старик, волочивший за собой саблю, словно сто лет своей жизни, сопровождавший нас подробными разговорами о восстании, подошел вместе с нами к Павлу.

— Ты как их пронзил, Павло? — сказал Запус.

— Про землю, — вместо Павла деревянным голосом ответил старый сабленосец.

Он, словно проснувшись, пронзительно посмотрел на Запуса, хмыкнул:

— А по-моему — брешет!..

Запус не успел ему возразить, как вдруг казак пронзительно гикнул, выхватил шашку и ударил Павла прямо в костяные его усы.

Пуля Запуса пробила старику шею. Запус прыгнул на него и, выхватывая гранату, крикнул:

— Десятого расстреляю! Поднимай руку, кто против земли и Советской власти!

Толпа шарахнулась. Кто-то свистнул, и казаки медленно, вразброд, побрели на площадь. Подошел станичный атаман и позвал нас инструктировать выборы в совет.

— Их похороним честь-честью, не беспокойтесь!— указал он на трупы.

Запус, легонько прилипая, шел по станице.

— Рожу мне что ли землей вымазать: не земляная у меня рожа!

— Шпоры сними, Васька!

— Я раньше любил, чтоб серебро в кармане звенело, а теперь в ногах. Значит, капитализм и денежная система повергнуты нами под ноги. Жалко снимать шпоры и Павла жалко,— так закончил речь свою веселый Васька Запус, мой комиссар.

Всеволод Иванов

* * *

Всем месяцам можно быть добрей.
Ненависть только и гнев — в октябре.
Кротости?
— К марту!
Пощады?
— Не сметь!
Хваткой за шею волчицею — смерть.
В клычьей петле костенеющий груз.
Сталью мороз довершает игру.
Жалости?
— Волчьи клыки милосердь!
Что? На мольбы неподатлива смерть?
Так отчего же хулишь ты, дрожа,
Лютость Октябрьского мятежа?!

Капли по крышам свинцовее пуль.
Зябнет октябрь. Лихорадочный пульс.
Плетью конвульсий себя исхлестав,
Харкает сгустками ржавых листов.
В тусклые стекла — что силы взялось —
Мечет предсмертную бешено злость.
Рвется в усильях, но из года в год
Он предрешен, вековечный исход:
Как ни ощерься и пасть ни оскаль,—
Смерть унесет окровавленный скальп.

Что на семнадцатом трудно году?
Солнце — в петлицу?

На брошку — звезду?
Смерть?
— Пусть попробует из-за угла!
Младость бессмертьем сияет из глаз.
Юность и ненависть. Вера и гнев.
Что не расплавится в этом огне?!
Лют и неистов октябрьский смерч.
Бейся у ног, побежденная смерть!
— Небо!
— Лазурнее!
— Солнце!
— Ясней!
— Впредь с Октября начинаться весне!

Павел Шлейман

Спартак

ПОЭМА

I

Разве Коммуна мечом только славится?—
Коммуна — в сердце у всех:
Если нужно отсечь по пальцу,
Каждый даст отсечь.

Каждый кровь до последней капли
За Коммуну отдать готов.
Были годы: слезы капали,
Слезы стекали в кровь.

Мы отступали... Осень ранняя,
Плакала кровью листва;
Многие пали... Стоны раненых,
Стан от боев устал.

Кто пред погоней зубов не отточит,
Будет растоптан вмиг,
Будет разорван врагами в клочья,—
Зубы точили и мы...

II

Под Вознесенском село есть такое —
Не вспомню уж, как его звать —
Зиму и лето не знало покоя:
Белый... Петлюра... братва...

Хата стоит у околицы самой,
Молча глядит на поля;
Волки подходят, облаяны псами,
Сумрак зенками паля.

Жил в ней кузнец — вознесенский рабочий,
Зиму и лето ковал:
В городе — день, а дома — лишь ночью...
Жизнь ты разэтакая!..

Долго ли молот сменить на винтовку,
Когда наступает враг,
Кинуть вдовой наковальню-молодку,
Цепью сойтись у бугра.

III

Цепь наступает, а враг — пулеметом,
Свинцовой струей — по рядам...
Жмет от селенья, к оврагу прижмет он:
Пришлось отходить по задам...

Где тут взглянуть на жену и сыночка?!
Ян — вознесенский кузнец —
Помнит приказ Главковерха, и — точка:..
Знает: Украйна — в огне...

Лесом и степью бегут телеграммы,
Виснут на мачте слова,—
Верный союзник — невидимый радио —
Знаком товарищей звал.

Вот и последний, прощальный отклик
На мачте бессильно повис.
Верст восемьсот пробежали, измокли
Знаки: „прощайте и вы!..“

IV

Море легло от рыбачьих хибарок
Дорогой в невидимый край;
Вдоль пароходов, утихнувших барок —
Мелких рыбешек игра.

Вдруг над спокойным, замолкнувшим рейдом
Загрохотал чемодан...
Первый, второй... враг невидим, неведом:
Видно, Антанты суда.

Рвутся снаряды, а с каждым разрывом
Рвется и что-то в груди.
Носятся по ветру конские гривы:
Видно, пора отходить...

V

По дорогам скрипят обозы,
С эшелоном идет Исполком,
И шумят придорожные лозы,
Кто расскажет, о чем и о ком...

В стороне от широкой дороги,
По проселкам — враги, враги...
Что ни хутор — бандитское логово
Посреди полей нагих.

Стонут матери, плачут дети,
На возах старики кряхтят,—
Все года сошлись в этом лете,
Что лежат у смерти в когтях.

VI

В левом фланге с товарищем Яном
Направление — на Вознесенск,
Кто закажет пути партизанам:
Дан приказ — от Махно уберечь.

По пятам наступают на банды,
Тем ли дневка, а им — ночлег.
Тишина... ни звука команды,
Только топот ног по земле.

Вознесенские банды знают,
Что их гонит товарищ Ян,
Что сынишка и мать молодая —
Партизанова семья...

VII

Вдалеке Вознесенск белеет,
И проселок в родное село,—
Янов конь заходил веселее:
Вдоль оврага село легло.

И — к околице полем чистым,
У околицы — Янов дом,
Вдруг нежданный раздался выстрел —
Дернул конь ременной уздой...

Захрапел, но стальные шпоры
В крутые вонзились бока...
„В первый раз я с конем поспорил!“
Ян подумал, а в сердце — тоска...

VIII

Ян стучит, но нет ответа,
А кругом — безмолвье, тьма...
В щели смотрят полоски света:
Ставни окон замкнула мать...

Позади слуховое оконце
Продырявлено пулей враз
И еще не заткнуто суконкой...
Вспомнил выстрел: близок враг...

И с коня уже видно Яну,
И с коня не упал он едва:
У стола сидит Марианна,
Но ее напрасно звать...

IX

Дверь прикладами выбить недолго:
У стола — молодая мать,
Сосунок утоляет голод,
А в глазах у матери — тьма.

От боли сошлися брови,
Страданье застыло в чертах,
С белой груди струйка крови
Стекает по соску в уста.

И сосунок не знает, милый,
Что с молоком он кровь сосет,
Что пулей мать его убило,
И в материнской крови рот.

И держит, крепко стиснув пальцы,
Ребенка мертвая рука,—
Не разожмешь... отбросить жалость —
За пальцем палец отсекать!..

X

И взгляд решителен и светел,—
Взглянул и выхватил тесак,
Отрезал палец, другой и третий...
Ребенок — вот он, на руках...

Ко лбу в последний раз губами:
Пусть похоронят старики...
Вперед... шоссе, мосты, шлагбаум
И грудь спокойная реки.

Ушли бандиты... с первым ветром
Клубится по дороге пыль,
И на дороге незаметен
След конницы — следы копыт.

XI

Часы — как месяцы в походе,
Медлительный минут табун,
И год проходит до захода —
На отдых в первую избу...

Ожеребилася кобыла,
И собралась вокруг толпа:
Охота выпрячь — не тут-то было,
И жеребенок в походе пал.

С малюткой Ян, покрытый пылью,
От горя и от счастья пьян,
Пьянящим молоком кобыльим
Поил ребенка товарищ Ян.

Малютка — баловень в отряде,
И сыном партизанам стал,
Ему — крещенье октябрями
И имя гордое — „Спартак".

XII

Отступает Южная Группа —
Стаи конных, пехоты ряды —
Припадешь к дороге ухом:
Издали земля гудит.

Отбиваясь от белых на фланге,
Бьет Махно и Петлюру в лоб:
На север движутся фаланги —
Рабочие с селянской голытьбой.

Под Киевом — леса глухие,
Желтеющие купы рощ...
Мгновенный лозунг: „Красный Киев!"
„Товарищи, даешь!.."

XIII

И вот, в покоях буржуазных
С малюткой отдыхает Ян
И день, и два... но по приказу —
Отход на русло Ирпеня...

У Ирпеня — лесистый берег,
И лес — в ручьях и болотах,
Зимой к жилью подходят звери...
И лагерь стал, и было так:

Деникин мерит версты к Туле,
А с Ирпеня ударят в тыл,
И в клубе раздвигают стулья,
Дрожат погоны и кресты...

XIV

В обозе ротном мальчик Янов,
Голодный, кулачек сосет,
И кто-нибудь из партизанов
Неловко соску тычет в рот.

Вернется Ян, и мальчик весел,
И тянется к нему, в седло,
И, высоко малютку взвесив,
Ян крепко поцелует в лоб.

И все — в походе и в походе:
Спартак — в обозе, Ян — в строю,
Деникин... Польша... год за годом,
Потом — за Врангелем, на юг...

В Крыму — бетонные окопы,
Плюют бетоны чугуном,
И только после Перекопа
Сменен обоз на детский дом.

XV

Детдом — республика советская,
Порой там будень бывает сер,
Но — ЦИК и Совнарком там детские,
И входит он в СССР...

Спартака видел я на улице,
В шумливом жизни колесе,
От утомленья щеки вздулися:
Он — самый маленький из всех.

Но как его подхватишь на руки,
Когда, вместо старых слов,
Усвоил он новые навыки, —
Прощаясь: „Будь готов!..“

С. Радугин

Мельник Отопай

РАССКАЗ

Октябрей до Октября в жизни много было, а прочно помнится всеми только один октябрь. В ту пору мужик, после уборки хлеба, не лежал на печи. Мужиков, почитай, и в деревнях не осталось: рылись тогда в полях окопы фронтовые, и в окопах мужик лежал, головой в землю зарывшись. Умирать никому не хотелось, а воевать приказывали, ну и ткался мужик в землю, чтобы пуля черепа не пробила. Лежит мужик в земле, и только одна дума — как бы живу остаться. Снарядом оторвало голову какому, — в окостенелой голове та же дума.

— Да нешто это — война? Бойня — это! Простой народ изничтожить хотят.

Земля качалась. Земля стонала.

А в утробе земли деревня неотесанная, мастеровщина пьяная, прочно вбивала в стены окопов себя и думы. Сносились окопы, как солома ветром, засыпались окопы с живыми и мертвыми.

— Эх, уж и жарют же немцы проклятые!

Земля кровью пьянела, и по пьяной, от фронта в тыл, надземно и подземно, солдатские думы ползли по городам и деревням.

Под старым лесом помещиков Иволгиных, совсем далеко от фронта, где, как сотню лет назад, кричали совы, жужжали в лесных топях комары, застилало туманы солнце по утрам, стояла деревня, боком к лесу. Недалеко от деревни был

барский дом, такой же старый, как лес. Тихо было в соломенно-крышей деревне, тихо было и в барском доме. В те же времена и ураганов-то не проносилось над местностью: бури и ураганы собрались тогда все на фронте, а на этом куске земли даже ветер ленился воду рябить. Мужицкие крылатые ветряки не ворочали тяжелых жерновов на горке. Уже давно к мельницам дорога травой заросла, и мужик не распоясывал мешков с зерном. Не ругала баба мужика за то, что зерно пропил. И не заманивали пьяного лесные ведьмы. В бучиле, под мельницей помещика Иволгина, водяной дед не играл в лунные ночи с русалками. Водяной скат мельницы был сух, и солнечными днями на нем трясогузки хвостом вертели. А в дождливые дни вода из бучила по скату на колесо падала, — колесо не вертелось, и вода по ступенькам рассыпалась, словно слезы на щеке плачущего.

Стара была эта мельница. Она помнила еще крепостное право. Мельник Отопай, мужик из крепостных, на десяток лет старше столетнего дуба, рассказывал: много в бучиле крестьянских, порченых барином, девок русалками по ночам по воде плавают и прохожих заманивают.

Старого мельника на много верст кругом все знали. На мельницу приезжали любители рыболовы из города рыбу удить, веснами останавливались охотники с ружьем, с собаками. Табором располагались по берегу бучила, жгли костры ночами, варили гурьеву кашу, гирят стреляли. Многое дед Отопай около мельницы видел. У воды и леса он вырос, и сам Отопай был точно лесовик: седая борода, как тина зеленая, зеленела от старости; она от роду бритвы не знала и была, как лес неподчищенный — густая, до пояса.

— Никому в жизни за эту бороду браться не давал — говорил он, когда ею восхищались приезжие. — Один раз барин захотел было, в виде милости ко мне, щетку из моей бороды для себя сделать. Брадобрея прислал, нашего, крепостного... Пороли потом меня, а бороды не дал отрезать.

Здоров был мельник Отопай. Бывало, стоит на плотине старик, точно с постели барин в белом, издалека виден. Телом-то он от старости сухопар был, а высок и плечист. Иной раз крикнет на кого из мужиков, словно в лесу дерево упало — ух! Только на таких, у кого в крови вода с лесом, и держалось долго крепостное право.

Потому, что Отопай жил много, его в деревне колдуном считали. Для кого трава в лесу — корм скотине, а Отопай травой болезни лечил. А на мельнице за всю-то жизнь о каких-каких болезнях народ не рассказывал. Слушает, слушает Отопай и посоветует иному:

— А дал бы ты от лихоманки-то травы Марьиной попить. Солнце в ей, как мед в цвету, согревает холодного. Здорово помогает.

Полынь горькая, голодный корм корове, блошья гибель Отопаем настаивалась на печке и волдыри залечивала.

Отопай говорил: „если иную траву сорвать утренником с каплями росы да засушить, как следует — от обжогов потом присыпка хорошая".

Сам Отопай за всю свою долгую жизнь только и болел два раза: один раз медведь его зимой под себя подмял и зубами череп сдавил; спасибо, собаки хорошие были — отбили. Провалялся с неделю. А потом внучка любимая, красавица лесная, в бучило головой бросилась, а Отопай целый месяц после по берегу бегал и кричал: „русалочка моя, русалочка, выплыви!"

Дело было так: полюбил старую мельницу младший сын барина — художник. Рисовал ее. Отопая самого срисовал, да, ведь, как придумал-то: ночью при луне внучку мельника уговорил в бучиле голой в воде плавать, а Отопая на плотину поставил, как будто бы его, старого, красавица-русалка в воду заманивает. Хорошие деньги заплатил за это. А старик жаден был. Деньгу любил. Да и как не потешить барина. Хорошая у него картина выходила.

Внучка Отопая, Тинка, вся в деда выкинулась — рослая, волоса у Тинки солнцем обожжены, как рожь спелая, чуть не до пят доходили. Пока не намокнут в воде, так и плавают, бывало, как трава морская. Волоса эти и полюбил барин. Они-то, собственно, и заставили его рисовать старую мельницу. Неоконченной картина осталась. У художника красок не хватило: уж дюже хороша была Тинка. Она родилась на мельнице, и потому, что сын Отопая с отцом вместе плотину поправляли и долгое время с плотины в бучило глазами смотрели, не промывает ли где вода плотину,— Тинка родилась с глазами темными, темными, как вода в бучиле. Увидал эти глаза барин, и неоконченной картина осталась.

И мать Тинки — когда она уже под сердцем жила — часто по малину и орех в лес уходила. Весной и летом носила она ее в себе по лесу, и, когда родилась Тинка и выросла, это-то, должно быть, и отразилось в ней.

— Весна ты моя, радость! — называл ее сын барина.

А Отопай, старый волк, когда выходил ночами плотину посмотреть, то в колесе водяном другие слова барина слышал.

— Слушай, Тинка, не балуй с ним — остерегал он внучку. — Барину час радости, тебе — век горе.

А нешто девичье сердце — не лед весною. Слова-то барина, что лучи солнца, — теплые, ясные. И сам недурен собой, как тополь при дороге. Летом барин картину начал рисовать, а осенью в город уехал. Отопай слова не сказал внучке, а все знал, и сыну не говорил, — без того ему тошно было: вот-вот на войну заберут.

Тихо было на мельнице Отопая, тихо было в соломенно-крышей деревне, совсем одиноким стоял барский дом. Все бури, все ураганы на фронт слетелись. Шла война.

Еще задолго до войны над мельницей коршунья много носилось.

— Не спроста это — говорил Отопай. — Коршуну кровь нужна. Быть войне скоро. И месяц иногда над мельницей красной краской покрывался: это к войне. Так перед турецкой кампанией было.

По приметам коршунов с месяцем, Отопай войну предсказывал, а в деревне старухи горе мельнику пророчили. По ночам над мельницей сову видели — кричала. Сова кричит — быть покойнику. Думали — за грешной душой мельника черт гонцов из ада пришлет, а вышло — Тинка в бучило головой бросилась. Не выдержала срама девка, — как забрюхатела, мать покою не давала: „что, дьяволица, нагулялась с барином?“ Отец Тинки, когда узнал в чем дело, с полгоря жену избил, целого-то горя уже не было: на войну народ забирали, и его черед вот-вот...

Отопай нырнул за внучкой в бучило — да ее-то не поймал, горячку схватил и по берегу стал бегать и кричать:

— Русалочка моя милая! Тинка! Внучка, выплыви!

Когда отошел Отопай, война началась. Тогда с этого куска земли трех взяли: сына барина, художника, отца Тинки

и Миколу Астратонова, из крайней хаты, что боком в лес упиралась, недалеко от мельницы.

Микола считался первым работником на барском дворе и был бравый парень. По деревне слыл завидным женихом. Главное, работящ был, веселиться любил, девок не портил. А как вешались! Да какие!

— Ох, — вздыхали матери дочерей — не спроста к девкам нашим парень не льнет. Тот-то, старый черт, мельник, кого не околдует. Ишь, повадился молодец на мельницу ходить.

Заметили бабы, что Микола, как воскресный день, так — туда. И все с мельником вместе.

— Отопай,— говорил Микола,— хорошо бы мне у тебя на мельнице пристроиться. Вольготно здесь.

— Зачем же дело-то стало? Засыпщика мне давно нужно, я-то стар, на покой пора, а сыну одному не управиться. Намекни управляющему.— И часто Микола напоминал об этом мельнику, а старик знал, почему парня на мельницу тянет. Полюбил Микола внучку Отопая — Тинку. И слаживалось было дело-то. Не чуралась Тинка Миколы, а так, чтобы крепко привязаться к парню, не было этого. В бучиле вода холодная, а Тинка — дочь бучила, тоже с ледяным сердцем. Приластится иной раз Микола к девке, а она, словно водой холодной:

— Не тронь!

После таких слов Микола неделями песни не играет, на девок глаза не смотрят, работа из рук валится, ходит сумрачный. А бабы говорят:

— Околдовал старый черт парня, околдовал.

И Микола сначала не верил в колдовство мельника, а когда узнал, что на мельницу барский сын повадился ходить, решил: не иначе — приворожил старик барина, чтобы внучку барыней сделать. В деревне все знали, что не рисовать барин ходил на мельницу, а к Тинке.

Хотел было Микола с досады воду у мельника спустить, да не знал, с какой стороны к водяному делу приступиться. Пустил бы петуха, да на воде мельница стояла. Пришел как-то к Отопаю выпивши и задирать стал:

— Что, колдун, барченка ждешь?

— Уходи! — сурово сказал старик.

А когда Тинка в бучило бросилась, на барский двор из деревни за неводом прибежали. С барского двора и послал управляющий Миколу с неводом, утопленницу ловить. Он-то, Микола, и поймал свою любовь в воде. Когда девку вытащили на берег, Микола поглядел в лицо синей милой, поглядел на барский дом, и точно разума парню горе прибавило,— по иному в голове думы завертелись.

— Прости, старик! — обратился к мельнику.

— Не поминай ее лихом! — сказал Отопай.

Весело на войну ушел Микола.

Все трое в один полк попали: Иволгин — ротным, а Микола Астратонов и отец Тинки — рядовыми. Под Боровичами неделями в земле лежали и песни войны слушали. И жить тошно было, и умирать не хотелось. Три года к концу подходили, а из окопа солдату, как мыши из норы, ничего не видно.

— Как перебьют всех мужиков с рабочими, тогда и конец — думали солдаты.

Один Астратонов в роте не падал духом. Это был человек, про которого говорили: „от него пули отскакивают". Иной перед смертью как лист дрожал, а он ей в глаза смеялся. Никто не умел так смело в разведку ходить, как Микола. За храбрость три креста имел, ротой командовал, а его земляк, отец Тинки, в одном бою несчастным человеком сделался: кончик носа ему пуля отхватила. И так это чудно все вышло: солдат без настоящего носа остался, а ни раненым его нельзя было признать, ни здоровым: окопный фельдшер залепил ему чем-то половину носа, да так и оставили на фронте.

— Ну, брат, и мядаль тебе прилепили к носу — смеялись солдаты. А несчастному без малого пятьдесят лет было.

— Уж один бы конец! — говорил он.

И не тянуло его на барскую мельницу. Захирел мужик в окопах.

— Ты что, брат, нос-то повесил? — весело говорил ему ротный Иволгин, обходя окопы, когда на фронте, как в могиле, спокойно было.

— Астратонов, надо бы подвеселить земляка-то: зажурился... Хочешь генералом быть?

Полуносый мужик — руки по швам — стоял: рады всякому случаю поразвлечься немного — хихикали. Один Микола при виде ротного череп хмурил.

Не забылись думки, что на мельнице вместе с Тинкой неводом выловил.

На фронте-то жизнь еще ясней стала. Не оспоришь, что простой народ пирогу-земле начинкой был, а ротное дворянство, командный состав — крестовешатели. Не одному солдату в голову мысль приходила — в затылок командиру пулю пустить.

Астратонов давно ждал случая ротному Иволгину бучило мельницы напомнить. Да все случая не представлялось: роту в бои он, Микола, водил, а Иволгин в тылу отсиживался.

— О, крестовешатели проклятые! — скрипел зубами Микола. — Придет и вам конец!

Опустела мельница Отопая: старик умер, плотину водой размыло, колесо в последнюю весну полая вода унесла. Сели тяжелые годы на крышу дома мельникова и крышу провалили. Людское жилье квартирой совам стало. Рассядутся они ночами на уцелевших стропилах и глазищами шаркают по земле, нет ли где мыши загулявшейся. Жутко прохожему ночью мимо мельницы проходить. Над высохшим бучилом летучие мыши крыльями шуршали, кричали совы, и тоскливо верхушками лес шумел. Казалось, стонет кто-то над мельницей Отопая, плачет...

— Души загубленных барами места не находят — говорили крестьяне.

А на барском дворе на мельницу рукой махнули: дескать, отжила свое. Еще кому дорога она была — это беглым солдатам с фронта: чтобы в деревне на глаза начальству не попасться, заночевывали ребята на старой мельнице. Неспокойный народ были эти солдаты. По утрам на барском дворе всегда какой-нибудь птицы не досчитывались. И на деревне от них стало неспокойно: солдаты такое про войну рассказывали, что их слова, как ветер в море, целую бурю поднимали. А тут еще с фронта в барский дом помещичьи сыновья с'ехались, вроде как не у дел остались люди: царя в столице отставили, войну в свои руки солдаты забрали.

— Вон оно, наше бельмо-то на глазу — показывали они мужикам на барский дом.

Ротный Иволгин, приехавший на побывку, посоветовал было мельницу сжечь.

— Что вы, вашбродь?— взмолился управляющий. — Крестьяне узнают, да нам тут... Раньше надо было это колдовское гнездо уничтожить.

Штатский брат художника, из Петрограда, несколько иначе посмотрел на это дело. Он позвал управляющего и велел ему мужиков к себе прислать.

Мужики, кто еще на фронт не попал, собрались. Кучей у крыльца стали, шапки мнут. Вышел сам.

— Мужички, оденьте шапки-то: простудитесь,— ласково обратился барин.

— Ничаво, и так постоим. Привыкши.

— Зачем же?

И в мужицких головах, как в голове барина, новые слова нашлись.

— Пошто призвал-то нас? Чаво скажешь?

— Мельницу вот я вам хотел водяную предложить.

— Затем и звал?— хором спросили мужики.

Помещик смутился.

— Так вот они и на фронте теперь с нами говорят,— по-французски сказал штатскому брату военный. — Дикий народ!

Мужики ушли...

По одежде леса можно было определить, что на дворе уже сентябрь стоял. Дождило. На голове леса появились плешины. Болота взбухли, в бучило с гор набежала вода. Заделать бы дыру в плотине, поставить колесо, и пошла бы мельница опять зерно молоть. А на мельнице в эту пору еще мертвей стало: совы разлетелись; солдаты, не боясь начальства, не прятались; и стояла она в лощине, как укор совести барскому дому. На деревне мужики спорили: брать им мельницу, али как?

— Место-то больно колдовское. Не рад будешь и мельнице. А брать, чего ж ее брать,— мельница теперь все равно наша!.. Мельницу, грит, хочу вам отдать. Таперича ты не токмо мельницу — усё отдашь!

Слышали мужики, что с соседним барином мужики изделали: ну-ка, грят, барин, довольно тебе проклажаться! Запрягли у телегу барина коренником, а баб яво в пристяжку, да и сели в телегу. Ну-ка, грят, вязи, да как вытянут кнутовищем по всей тройке, она и того...

Вот то-то и оно-то, грят: мы усю жизнь вязли вас — не падали, а вы, ишь... Мельницу он нам ублажает!

И в барском доме разговор шел. Ясно было, что мертвым мужики ничего не сделают, а живым опасно в доме оставаться. И уехать некуда — везде одинаково. Проснулся в народе раб забитый, жжет все, палит. Главное: солдат — мужик среди рабов.

— Это такие головорезы на войне сделались — с ужасом говорил художник, — что им убить человека — все равно, что высморкаться...

У нас на фронте недавно такой случай был: служил у меня в роте парень из местного села Астратонов. Отчаянный солдат был, три креста за храбрость имел. Да вы его знаете: он у нас в имении работал. Так тот, как услыхал от большевиков, что войну цари, богачи да бары затеяли, так со всей ротой вылез из окопа: „ур-ра-а!“ да с голыми руками к немцам. Те-то, было, думали сначала, что наши в атаку пошли... Глядят, а наши им руками машут, дескать: „выходи, немец — войне конец!“ Те-то тоже, должно быть, кое-что слышали о наших чудачествах и себе из окопов — марш к нашим. Офицера ихние, было, стрелять в них, мы тоже к своим бросились, думали в окопы загнать... Тут этот зверь Астратонов как выхватит у немца винтовку, да как крикнет: „Гер, немец, капрал, русь, конец войне буржуазной!“ и не успел никто глазом моргнуть, как наш полковник у него на штыке очутился... Тут и пошло: немцы своих бить стали, а наши — своих.

— О, господи, да что ж это такое? — Вот звери-то! — перекрестилась старая барыня.

И жутко стало в барском доме. Остановилось в нем колесо жизни.

По утрам никто не знал, за что кому приниматься нужно. Да и нужно ли? На виду у мужиков барский дом стоял, как раз против мельницы, на горке. Пока жив был мельник, мужики туда глаза пялили: нечисть там, колдун.

В двенадцать часов ночи плотиной мимо проходить боялись — об'езжали. Боялись близко и мимо барского дома ездить: неровен час на самих попадешь — неприятность... Указана была всем одна дорога барином: через плотину. Когда мельница перестала работать, бучило высохло, колесо вода унесла, а мельника — смерть, как-то видней все стало, да и не так страшно... И бучило без воды не таким уж глубоким казалось. Конечно, человеку утонуть — мало нужно, а чтобы русалки в бучиле водились, брехня это, — говорили уже некоторые мужики, поглядывая на барский дом.

— Во, — указывали они на горку, — бучило-то наше.

И жутко было ночами барскому дому.

Знали там, что на барский дом мужики руками показывают.

Штатский барин из Петрограда осмотрел стены, которыми было обнесено имение; художник-офицер, ложась спать, клал под подушку револьвер.

На всякий случай на конюшне стояли оседланные лошади. Побывка офицера затянулась. По газетам все знали, что война с немцами кончилась и солдаты да рабочие воюют внутри. Всюду были Советы.

Управляющий Нилыч, слуга из крестьян, прижимистый старикашка, как, бывало, настает утро, так и бежит то в поле, то на скотный двор; в полдень, когда для бар только утро раннее, с докладом к барину, а там — мужики приходят, бабы: „отдай, батюшка, лошадь, что за потраву взяли!". Мельница не мало хлопот приносила. Глядишь, вечер на дворе, солнце заходит, — к барину гости: вино, ужин, танцы, катанье. Напотешится барское сердце, — велят Нилычу молодых девок с деревни пригнать — песни петь. Делов-то — дня мало. А теперь...

— Вот, дожили! — бурчит старик, шагая по двору и разводя руками.

— Да что же это такое? Ефим, Ефим, чаво ж ты лошадей-то распустил, леший? Ах, батюшки, и коровы еще не доены! Анисья, а Анисья!

— Тутошки я. Чаво лаешься-то?

Под навесом, где телеги, кучер Ефим и Анисья с каким-то мужиком разговаривают.

— Чей это? — спрашивает Нилыч, заметив чужого.

— С хронта пришел, моей невестки муж, — не совсем дружелюбно отвечает баба. — Баит, вот, что землю-то теперь большевики с солдатами мужикам велели отдать.

— Бреши, дура! Шалый человек чего не наговорит. Шел бы ты, батюшка, своей дорогой! Че зря народ тут мутить!

— А ты кто такой будешь?

— Управляющий он наш — ответил за него кучер.

— Барский прихвостень, значит...

— Тьфу, нехороший ты человек! — рассердился Нилыч и ушел.

Старая мельница, соломенно-крышая деревня и барский дом помещиков Иволгиных были от города в трех часах езды. Это — если тихо ехать. А карьером — и в час до места доберешься.

Как-то ночью, под проливным дождем, когда в барском доме страх по комнатам ходил, стучал ветер ставнями, и выл октябрь в сосновом бору, а в столовой казалось людям, что бором деревня к дому подбирается и за века рабства огнем хочет спалить, — из города в деревню во весь опор молодой всадник мчался. Дорога не видала еще таких всадников. Такие пешком по ней ходили, на телегах ездили, сворачивали с дороги, когда баре навстречу попадались, снимали шапки и долго потом вслед барам смотрели, не то с завистью, не то с ненавистью. И только в октябре месяце узнали все, как мужик вслед барам смотрел.

Всадник этот был Астратонов, работник с барского двора, мужик неотесанный, солдат с фронта, офицер красной гвардии.

... Поглядел Микола в лицо синей милой, поглядел на барский дом, точно разума парню горе прибавило, по иному в голове думы завертелись...

Теперь-то он знает, кто виной, что в бучило Тинка бросилась. Он — большевик...

На плотине конь чуть ногой не провалился. Храпит, взмыленный. Мельница. Колеса нет. В развалившемся доме — темь ночи. Кругом глухо, пусто.

С тягучим надрывом — точно в лесу леший плакал — скрипело дерево.

Заметив при мельнице два забытых креста, Астратонов бросил поводья, и что-то тяжелое голову вниз придавило.

Дорога пролегала у леса, сбоку, так что ехать приходилось, словно у стены темной. Лошадь шла сама. Астратонов задумался. Четыре года в знакомых местах не был. За это время чего не пережито! А что еще впереди — никто не знает. Власть захватили, а гнезда старых коршунов не разрушены.

Его взгляд упал на барский дом. Словно светляк в степи, чуть маленький огонек в одном окне виднелся. Астратонов подумал: присмирел. И чудным он самому себе показался. Офицер красной гвардии. Мужик бывший. Его отцов на конюшнях баре кнутом пороли. Ночь. Лес. Родная деревня. Тут он когда-то мальчишкой в ночном лошадей пас, работником у барина работал: возил, как лошадь, и ничего не знал, отчего на свете жизнь разная у людей.

Что бы теперь Тинка сказала? Где она?

Тинка! — крикнула мысль в мозгу.

И жалко умершую стало.

Лошадь остановилась у крайней хаты, что боком в лес упиралась. Тут жила мать Астратонова — вдова-солдатка. Было очень поздно. В деревне — ни признака живой души. От плохой погоды даже собаки не лаяли. Тишина старое напоминала. Казалось, на этом куске земли не прошла сохой война и революция.

Астратонов слез с коня и постучался...

Еще раз постучался... Прислушался...

Знакомая тишина: так в прифронтовой полосе покинутые мужиками хаты солдат встречали. Микола обошел двор, заглянул через плетень,— даже курьяком не пахло. И чужой ему стала деревня. Он сел на лошадь, постоял немного, раздумывая, к кому бы на ночь теперь заехать; тронул, было, лошадь к старой мельнице, потом тряхнул головой, как бы скидывая тяжесть дум; повернул круто и, дав коню шпоры, поскакал к барскому дому...

Никогда не знаешь, что найдешь в старом доме, в котором давно не был.

А Микола и в дом-то барский не входил никогда, все около конюшен да коровников, бывало, со скотиной возится.

Управляющий Нилыч позовет иной раз его к себе, в контору, и то боязно было входить туда, а уж в барские-то хоромы, где уж там... Мужики говорили меж собой, что там „такое обставление убранное, хоть бы тебе у царя... патреты..."

Только Аниська, горничная, не удивлялась этому, а мужики, бывало, слушают ее, как это господа живут и, знай, вокают: „во-о!"

Вокал и Микола раньше. А теперь за обыкновение все стало: война в такие дома его вталкивала, что ко всему уже привык.

Он смело под'ехал к железным воротам строгого барского дома и постучал рукояткой револьвера. Так Микола стучал в городе, когда приходилось ночами искать в домах сопротивляющихся революции.

— Кто там? — раздался внутри двора мужской старческий голос.

Неистово лая, к воротам бросились собаки.

Дождь перестал. Ныряла луна в тучах. День обещал быть погожим. Кутаясь в тулуп, к воротам подошел сторож.

— Открывай! — крикнул Микола.

Старик испугался.

— Батюшка! — взмолился он. — Как же так? Не приказано, ведь, ночью-то никого впускать. И ключи у управляющего.

— Буди скорее! Скажи...

Зло стало разбирать Астратонова. Холод прохватывал. В одиночестве чувствовалось, будто все в родном краю против него были. Захотелось силу показать. Пугнуть. Вспомнил чужие слова:

— Скажи, мол, офицер ее величества октябрьской революции переночевать хочет. Слышишь!

— Батюшки! — взметнул руками, ничего не понимая, сторож. — Значит, от самого будете? Сейчас, сейчас. Цыц, вы, проклятые! — пугнул он собак.

Беспокойно прошла эта ночь в барском доме. Когда вышел Нилыч и узнал, кто такой всадник за воротами, старик разбудил господ, с перепугу перепугал их всех и доложил, что Микола, их барский работник, большевистским генералом домой вернулся и в барском доме хочет остано-

виться. С меньшим чином старик не мог помириться: больно уж ему строгим Микола показался.

— Ты, — говорит, — старый хрыч, смотри у меня: живо чтобы!

— Проси, проси скорее! — заторопил петроградский барин.

Ему уже казалось: раз генерал, какой бы он ни был, значит — и войско с ним.

— Слушай, Нилыч, передай брату, чтобы он потише держал себя с ним.

— Да стой: надо бы мужикам дать знать, что мол, барин, землю и мельницу думает им отдать. Слышишь, не забудь!

— Слушаю-с!

Узнав о том, что в помещичьем доме большевик остановился, да еще важный, — старая барыня стала креститься. Ротный Иволгин, художник, без предупреждения брата тихонько сорвал с мундира погоны и вместе с револьвером положил их за зеркало.

До утра никто глаз не сомкнул. На цыпочках ходили.

Всем в эту ночь ясно стало, что подобралось к старому барскому дому то, что в октябрьском ветре давно за окном чудилось.

Неспокойно спал и Микола в барском доме. Он спал в комнате, где, как нарочно, висела неоконченная прекрасная картина старой мельницы.

Она-то, должно быть, и тревожила невидимо спящего. Кидался в постели: будто мельник его все душил, в бучило Тинка заманивала.

Вскочил. Холодный пот на лбу. Глядит — как живая, со стены, из бучила, голова Тинки на него смотрит. Руками в стену уперся. Глазами в картину впился. Живая Тинка. Старая мельница. Мельника только нет. Неокончена картина была.

— Так вы вот как! — крикнул Микола на весь дом. — Насмехаться над нами!

И... в деревню.

— Микола! — встретили его мужики.

— Товарищи! . . . . . .

. . . . . .

Беспокойно было в барском доме, тихо стояла разрушенная мельница. Как вода, в огне кипела соломенно-крышая деревня.

Без барского зова двинулись мужики к барскому дому.

. . . . . .

Когда Микола, на вторую ночь, одиноко возвращался в город и в последний, может быть, раз проезжал мимо старой мельницы, недалеко, на горке, точно уходящий от жизни человек, тихо догорала старая дворянская усадьба.

А. Фролов

* * *

Волнами невиданной отваги
Наступали орды красных вод.
Королям воздвигли эшафот,
Мертвецам Коммуны — саркофаги...

И пошли по ребрам всей земли
С факелами огненного пенья.
Подожгли скрипучие ступени,
Мятежи, как ливни, разлили.

Опрокинув ветхий небосвод,
На земле зажгли мы солнца, луны...
Нет сильнее орд багровых вод.
Нет плотин, чтоб задержать Коммуну!

Петр Краснов

Первое „ура!“

РАССКАЗ

I

Предоктябрьские дни разносили тревогу.

Рабочие кварталы вз'ерошились рукой грозового восстанья. Готовились к бою. Казармы кипели гулким эхом рвущихся мятежных слов. Проверяли патроны. Подсчитывали „за“ и „против“...

По утрам игольчатая изморозь пронизывала тело. Глаза резали клочья липкого тумана. А толпы-митинги рождали взлеты новых и новых непобедимых мыслей.

Прапорщик Власов пойдет с солдатами.

Солдаты не отдадут Революции без боя. Солдаты, как и он, любят Революцию больше жизни, а потому, где солдаты, там будет и прапорщик Власов!

В феврале рядовой Власов, как воробьев по крышам, подстреливал „фараонов“ — городовых. Поджигал полицейские участки. Ловил генералов и отводил в тюрьму.

В марте Власов организовал ротный комитет в своей роте. Громил в полковом комитете скрытую офицерскую контр-революцию, постановления Совета Рабочих и Солдатских Депутатов признавал выше всех законов линяющего каждый месяц буржуазного правительства.

В июне, по единогласной воле своей роты, Власов надел погоны прапорщика. Получил должность полуротного командира и выступал вместе со своей ротой против генерала Корнилова.

И что значит теперь молодая, любимая жена, когда вся рота постановила выступать против Керенского?! Теперь ли думать о том маленьком человеческом комочке, что бьется у любимой жены под сердцем? И что значит личное семейное счастье, когда Революция властно командует:

„Смело в бой! За счастье угнетенных!"

Власов, прежде всего, солдат Революции! Он докажет жене, что она не может и не должна ему мешать. Он это решил твердо, и он это сделает.

— Ната! Я иду на офицерское собрание. Полковой комитет требует срочного ответа: пойдут ли офицеры против правительства Керенского, если выступят солдаты?

— А ты как решил?

— Я — с солдатами!

Жена Власова, Ната — бывшая мастерица мануфактурной фабрики. Она знала Власова, когда он был рядовым солдатом, познакомилась с ним в „Народном Доме" и там же каталась с ним на „Американских горках".

Смелость и решительность Власова ей всегда нравились; и вот, когда Власов надел погоны прапорщика и сделал ей предложение быть его женой, она бросила работу на фабрике и стала исполнять обязанности жены-хозяйки. А через месяц, когда Ната узнала, что она будет матерью, любовь к мужу загорелась ярким всесожигающим пламенем...

— Любимый, постой! — и горячие руки-змейки обвились вокруг шеи Власова, обожгли шею зноем молодости...

— Береги себя! Ты должен жить для него... Для нашего маленького... Ты же знаешь!.. — и в лицо Власову брызнули острые иглы слез и покатились горячими струйками к горячему сердцу Власова...

— Ната, родная, не плачь!

— Я умру без тебя! Зачем мне жить?!

Власов нежно отстранил от себя жену и заглянул глубоко, глубоко в ее глаза:

— Ты воспитаешь моего заместителя!..

— Научи, Ната, моего сына любить Революцию! А если будет дочь, воспитай ее защитницей угнетенных! — и Власов поцеловал жену.

— Любимый, любимый!..

— Прощай!.. Досвиданья!..

II

На председательском месте сидел командир полка, полковник Диль, хитрый и осторожный немец.

Его предки пришли в Россию еще при Павле I и постоянно, из поколенья в поколенье, служили при дворе „Его Величества".

От предков он унаследовал чуткость и осторожность, и сейчас, в исключительный момент, когда решался серьезный вопрос — выступать ли офицерам против правительства Керенского,— он одинаково спокойно выслушивал всех и всем давал слово.

Лица офицеров были задумчивы. Речь говорил кадет Осипов, юрист по призванию, полуротный командир:

— Полковой комитет не имеет права административных распоряжений! Я своей подписи не даю ни „за", ни „против" выступленья, пока не получу законного приказа!.. Приказа по полку, от военного округа!

По лицам офицеров пробежала тень надежды.

Они — эти вчерашние ярые защитники царизма, упитанные и развращенные богатством и властью сыны старых княжеских и дворянских фамилий, — они, конечно, не хотели выступать вместе с солдатами. И, конечно, военный округ — округ командиров-ставленников Керенского, никогда не отдаст распоряжения выступать против самого же Керенского!..

Мысли кадета Осипова всем понравились. Ему аплодировали... Говорили и другие, но все подводили свои мысли к определенному желанию — „не выступать".

Прапорщик Власов долго и упорно слушал. Мысли его бурлили, чувства закипали ненавистью...

— И чего я пришел сюда?! Разве можно уговорить контр-революцию защищать Революцию?!

Горячее сердце не выдерживало, а мысли подсказывали деловое: „Авось, хоть один из этих паразитов поймет, что офицеры без солдат — не офицеры!"

— Прошу слова! — сказал Власов.

Острые взгляды офицеров, как пули, скользнули по холодному и жесткому лицу Власова. Что-то скажет этот вчерашний солдат, плебей по происхождению?!

— Революция скомандовала „Долой царя!“, и полетел с кровавого престола пьяный полуидиот! Сегодня Революция командует: „Долой правительство буржуазных лакеев!“ И если завтра солдаты пойдут исполнять волю Революции без вас, то что значит вот это все офицерское собрание перед лицом одной роты революционных солдат?! Честные командиры должны быть на своих местах — с солдатами!.. Командиры без войска — пыль для Революции!..

Офицеры переглядывались. Злые улыбки перепархивали по лицам. Что другое мог сказать этот плебей?!

Дверью хлопнул солдат - рассыльный в полном походном вооружении. Быстро подошел к Власову и подал какую - то бумажку:

— От полкового комитета!

Власов быстро прочитал бумажку, взглянул на солдата:

— Скажи, что через десять минут я буду на своем месте!

Солдат резким движеньем захлопнул за собою двери. Власов поднялся со стула:

— Господин полковник, мне нужно уйти!..

— Пожалуйста...— небрежно бросил полковник Диль и, неожиданно для всех, громко добавил:

— Подождите меня минутку... за дверью!..

За дверью полковник Диль отвел прапорщика Власова в дальний угол комнаты и дружелюбно, тихо спросил:

— Ваш уход — секретный?

— Моя рота выступает против Керенского!..

Полковник Диль ядовито улыбнулся:

— Эх, молодой человек! Послушайте, что я скажу...— и полковник Диль наклонился к Власову и зашептал:

— От главнокомандующего округом получено секретное распоряжение: „кто из офицеров выступит с солдатами против правительства — будет расстрелян!“.

Власов усмехнулся:

— Посмотрим, кто — кого!

III.

Рота под командой прапорщика Власова исполнила приказание Полкового Комитета. Вокзал был окружен и захвачен в пять минут, организованно, без шума.

Фельдфебель роты, по указанию Власова, расставил караулы по вокзалу и прилегающим к вокзалу улицам, установил в скрытых местах, на крыше вокзала, два пулемета, с часовыми при них. Свободные от постов солдаты захватили в свое распоряжение целый состав пассажирского поезда, расположились в мягких купэ классных вагонов, пошучивая:

— Довольно буржуям в мягких вагонах париться!

— А, ты, Корнюшкин, когда на мягком диване спал?

— Таперь посплю!

Темная ночь пугливой тревогой повисла над городом. Электрические фонари перемигивались, посмеивались.

Шаги гулко звенели по корридорам...

В комнату коменданта, где уже сидел за письменным столом прапорщик Власов, дозорный часовой привел двух юнкеров. Новые форменные шинели, новые юнкерские погоны и испуганные детские глаза.

— Вы за кого?—спросил Власов.

— Мы—нейтральные...—тихо ответил один из юнкеров.

— За Революцию сражаться не желаете?

— Мы всегда за революцию,—опять ответил тот же юнкер, а другой юнкер молчал и, как запуганный зверек, поглядывал по сторонам.

— Идемте с нами против Керенского!..

— Мы не можем! Мы держим нейтралитет!

Прапорщик Власов приподнялся со стула. Сверкнул глазами и жестом правой руки указал на юнкеров:

— Расстрелять!

Оба юнкера, как подкошенные, упали на колени. Залепетали, как дети, прося прощения:

— Мы—мы... пойдем с вами... за революцию...

Прапорщик Власов улыбнулся:

— Таких Революции не надо!—и обратился к дозорному:

— Савчук, отпусти их! Это—маменькины сынки! Для Революции они—ничтожество! А, впрочем, если хочешь, можешь им дать по хорошему прикладу на дорогу! Пускай не шляются по ночам!

В углу, у аппарата, работал телеграфист. Он, как ни в чем не бывало, продолжал все время выстукивать какие-то непонятные звуки. Власов подошел к телеграфисту:

— Можно вызвать X Армию? Армейский Комитет?

Телеграфист ответил утвердительно.

Застучал однообразным залпом звуков и через минуту сказал:

— Армейский комитет X Армии...

— Спроси, какое настроение солдат.

Опять забарабанил аппарат, и телеграфист, растягивая слова, читал:

— Ар-мия... за со-ве-ты... про-тив... войны...

— Хорошо! — сказал Власов, — передай им:

— Власть Керенского свергнута. В столице верховный орган власти — Военно-Революционный Комитет. Привет Армии, преданной делу Революции... от...

В комнату, как бомба, влетели два матроса.

— Кто комендант?

Прапорщик Власов быстро обернулся к вошедшим, быстро оглядел обоих: „Аврора — свои" — мелькнула мысль.

— В чем дело, товарищи? Я — комендант...

— Срочно паровоз! Мы — с крейсера „Аврора"... — сказал один матрос.

— У нас — пироксилиновые шашки! Мы взорвем путь к вокзалу, — сказал другой матрос и добавил: — на седьмой и на двенадцатой версте...

— На всякий случай...

IV

Бессонную ночь, полную тревог и страданий, провела Ната в постели. Она сначала долго и томительно ожидала возвращения мужа из офицерского собрания, а потом, когда стрелки стенных часов показали начало второго часа ночи, нелепые, кошмарные мысли поплыли перед глазами Наты, перебивая одна другую.

— „Несчастный случай... Ранен!.. Убит!.." — и снова, и снова, в новых бесконечных сериях картин, эти же мысли.

Безумная тревога за судьбу мужа толкала Нату к действиям, к движению.

Она вскакивала с постели, быстро-быстро одевалась, но, подойдя к окну, долго-долго глядела в гулкую темноту ночи, и сердце ее чутко подхватывало только эхо одиночных выстрелов...

„Ночь глухая! Куда итти? Где узнать?" — и Ната снова бросалась в постель и плакала, и гнала от себя неотвязные, бредовые мысли!..

Рано утром стало легче. Радостно!..

Какой-то солдат принес записку от мужа. Власов указывал, где он находится. Извинялся, что не мог ночью известить. Просил не беспокоиться. Все — хорошо!..

V

Три ночи и два дня жил Власов на вокзале, командуя, распоряжаясь. А далеко — за городом — рабочие, матросы и солдаты сражались с войсками Керенского...

Утром, на третий день, телеграммы с фронта, где был разбит и откуда бежал Керенский, сообщали, что революционные войска возвращаются в город. Предлагалось устроить торжественную встречу...

С самого раннего утра потянулись к вокзалу стройные и радостные колонны делегатов и делегаток от фабрик и заводов. На красных знаменах трепетали радостью боевые лозунги:

— „Да здравствует Диктатура Пролетариата!"

— „Да здравствуют Советы!"

— „Да здравствует Совет Народных Комиссаров!"

Пришел полковой оркестр. Прапорщик Власов во всю длину платформы выстроил свою роту, в две шеренги...

Вдали, по линиям убегающих рельс, показался дымок и стал расти все гуще и яснее. Все ближе — ближе!..

На фоне мутно-молочного осеннего неба показался силуэт паровоза и все растет — растет!..

Вот уже видна и надвигающаяся стена вагонов. Шипя и разбрасывая клубы пара и дыма, подкатывается поезд к платформе.

— Рота — смирно! Слуш-шай! На кра-улл!.. — и с последним звуком команды Власова к небесам взметнулась щетинистая стена штыков.

— Ура! Ура-а-а! — покатилось под сводами платформы.

Оркестр заиграл „Интернационал".

— Ура! Ура! Ура-а-а-а! — стоголосыми отзвуками билось о стены, рвалось к небесам и катилось далеко-далеко за вокзал, по городским улицам...

Много раз в жизни приходилось Власову слышать и самому кричать это мощное военное слово „ура“, но было ли какое-нибудь сходство всех тех „ура“ с этим всевластным, искренним „ура“, гремевшим сейчас по вокзалу.

Это „ура“ — радость восстанья! Гигантский взрыв небывалой радости угнетенных! Беспощадная победа пролетариата!..

Прапорщик Власов мыслями и чувствами слился с могучей волной звуков и уносился вместе с ними все дальше и дальше к неизведанным граням небывалого счастья, небывалого восторга!..

— Ура! Ура-а-а-а!..

Ната была в толпе. Она пришла на вокзал в этот день так же, как и все, утром. Она видела мужа, слышала его команду, но не подходила к нему, зная, что он находится сейчас при исполнении торжественных военных церемоний.

И вот, теперь, когда мощное „ура“ заколыхало своды вокзала, когда она увидала и поняла, что ее любимый открытым ртом выбрасывает в общие волны звуков и свое искреннее „ура“, она увлеклась общим порывом и закричала, что было сил:

— Ура! Ура-а-а!..

Это было ее первое, настоящее „ура“, и потому Ната, увлекаясь все больше и больше общим восторгом, скоро совершенно забыла, кто она и зачем она на вокзале...

— Ура! Ура-а-а! — кричала Ната.

Ив. Ванин

Освобождение

За топотом шагов неведом
Случайной конницы налет,
За мглой и пылью — следом, следом,
Уже стрекочет пулемет.

Где стрекозиную повадку
Он, разгулявшийся, нашел?
Осенний день, сырой и краткий,
По улицам идет, как вол;

Осенний день тропой заклятой
Медлительно бредет туда,
Где под защитою Кронштадта
Дымят военные суда.

Матрос не встанет, как бывало,
И не возьмет под козырек,
На блузе бант пылает алый,
Напруженный взведен курок.

И силою пятизарядной
Оттуда вырвется удар,
Оттуда яростный и жадный
На город ринется пожар.

Матрос подымет руку к глазу
(Прицел ему упорный дан),
Нажмет курок — и сразу, сразу
Зальется тенором наган.

А на плацдармах дождь и ветер,
Колеса, пушки и штыки,
Здесь собрались на рассвете
К огню готовые полки.

Здесь галуны кавалериста,
Папаха и казачий кант,
Сюда идут дорогой мглистой
Сапер, матрос и музыкант.

Сюда путиловцы с работы
Спешат с винтовками в руках,
Здесь притаились пулеметы
На затуманенных углах.

Октябрь! Взнесен удар упорный
И ждет падения руки;
Готово все: и сумрак черный,
И телефоны, и полки.

Все ждет его: деревьев тени,
Дрожанье звезд и волн разбег,
И там, под Гатчиной осенней,
Худой и бритый человек.

Октябрь! Ночные гаснут звуки,
Но Смольный пламенем одет,
Оттуда в мир скорбей и скуки
Шарахнет пушкою декрет.

А в небе над толпой военной
С высокой крыши, в дождь и мрак,
Простой и необыкновенный
Летит и рвется красный флаг!

Багрицкий

Степка-партизан

I. ДВА КРАСНОГВАРДЕЙЦА

Станция — за три версты от рабочего поселка. Два человека, в кожаных пиджаках, с винтовками в руках, немного не добежали до станции и остановились. „Тра-та-та!..“ — брызнул вдруг навстречу пулемет со станции. „Бух!“ — тяжело ударилась граната, в ста шагах впереди вспахала землю. Земля вздохнула в ответ.

Два человека переглянулись между собою: „поздно!“

— И что тут делать? Куда теперь?

Со стороны поселка протяжный, протяжный гудок загудел — сигнал тревоги. И оба разом повернулись на гудок.

— Эх, была не была — айда обратно. Авось свои не выдадут.

Больше некуда. Оба подобрали винтовки, торопливо побежали в поселок. Сильней загудели гудки навстречу. Будто невидимые руки тянутся к ним оттуда, от заводских корпусов. По черным вспотевшим лицам тихонько прошла надежда.

Неладное что-то творится по цехам. Не только у людей инструмент из рук валится, руки опускаются, — даже машины ходят нехотя. Взвизгивающий шелест змеевидных ремней становится продолжительней, жалобней. Ремень ползет медленней. Вот он дополз до затихающего колеса, вздрогнул в последний раз и замер. Машина стала.

Тяжелые, угрюмые металлисты молча собирались во дворе. Где-то наверху надрывался, рыдал гудок. „Все

пропало!..“ — кричал он, отчаянно бросаясь во все стороны. Замолчал бы скорее, и так сердца ноют.

Никаких разговоров не было. Сразу вынесли резолюцию: „Работу прекратить, ввиду неопределенного положения“.

И все тут же стали расходиться. Оно и правда. Зачем работать? На кого работать? Что тут еще придумаешь?

Молодежь еще не падала духом.

— Прощавай, Михеич, тебе одному завод сторожить! — назад в калитку крикнул один.

— Пускай сторожит, защита хорошая! — добавил другой.

Ушли весело. Молодые ребята не поддаются тоске.

Ворча и кряхтя попрежнему, старый привратник запирал калитку. Двадцать лет запирает и отпирает, двадцать лет ворчит. Ворчит, будто старый станок журчит.

Задали старому задачу. Запрет, бывало, к вечеру калитку, идет ужинать. А нынче — запирай среди бела дня. Что до ужина делать Михеичу? „Неладно что-то...“ — думает старик.

— Эй, Михеич, отвори!.. — кулаками забарабанили снаружи в калитку.

— Эк вас... — заворчал старик. — Кто там еще?

— Свои, свои! Скорей, Михеич, отвори!..

— Чего спешить, некуда теперь спешить. Завод пустой. — Сторож, ворча, открыл калитку.

— Что ты говоришь, Михеич? Как пустой?

— А так, все разошлись. Постановили не работать.

Красногвардейцы ахнули.

— Я так и знал! — тихо сказал один.

— Эх, и тут опоздали! — сказал другой и махнул рукою. Движение руки означало, что все потеряно.

— А что, Митя, — ласково зажурчал старик, — чего вернулся? Аль опять у нас поработать захотелось? Так-то лучше, кругом свои...

Угрюмо молчали красногвардейцы. К калитке плечом припали, казалось, отдыхали.

— И то... Месяца три будет, как ушел, — журчал старик. — Ушел — не дал спасибо сказать. Ты думаешь, мы забыли, как комиссаром у нас был. Нет, не забыли. Ведь, все твое носим. Весь район твое носит. Чей это кожух? — тряхнул полой Михеич. — Ведь, твой кожух.

Красногвардеец улыбнулся в ответ. Живо вспомнил себя комиссаром социального обеспечения целого района.

Другой красногвардеец вдруг вскочил с места.

— А что? — спросил товарища. — Куда теперь?

— Домой стало-быть, — ответил первый. И сразу вспомнил о жене, о мальчишке.

— Что ты, что ты?! Сейчас тут казаки будут.

— А что еще делать нам?

— Идем. Теперь одна дорога — в степь. В камыши.

„Жена больна, сын молод больно... пропадут" думал первый. „Руки и ноги ноют — домой просят".

— Нет, брат, сил не хватает. Я — домой.

— Да что с тобой, Митя? Или духом упал? Ведь, убьют.

— Уж, видно, судьба... Будь, что будет.

— Ну, прощай, коли так! — сурово сказал товарищ и подобрал винтовку.

— Прощай, брат, — тихо ответил тот.

— Да постой, — уж, видно, не встретимся...

И красногвардейцы пожали друг другу руки.

— Жаль, брат, тебя: пропадешь... — еще добавил красногвардеец усталому товарищу.

И бросился в степь. Чуть слеза на глаза не навернулась.

Степь широка. Ветер навстречу ринулся, обнял всего. Дон впереди блеснул. Заиграл ветер, загудели камыши — беглеца прячут.

А бывший комиссар социального обеспечения медленно побрел к поселку. Знал, что на верную смерть пошел, но шел спокойно. Сразу почувствовал, что свое отработал, сразу размяк, успокоился. Должно быть, гаечки какие-то на руках да на ногах поотвинтились. Отдохнуть захотелось сильно.

Как-то особенно тихо на улицах и переулках. Только из окон одного двухэтажного дома — та-та-та! — затакало что-то в уши. Красногвардеец повернулся на знакомый звук.

— Барышня какая-нибудь, на ремингтоне... — Таканье оборвалось.

Он хорошо знает это двухэтажное здание. Вон до сих пор еще висит маленькая, грязная бумажка с надписью от руки: „N-ский районный отдел социального обеспечения". На втором этаже — канцелярия, на первом — прежде были

склады реквизированной мебели, платья. Каждый день тут стояли очереди полуодетых старух, босоногих детей. Побывал тут и старый знакомец — Михеич.

— Та-та-та!.. — вдруг снова затакало в уши.

— И что ей там делать теперь, одной... — удивился красногвардеец, заглянул в окно.

— Та-та-та-та!.. — зачастило вдруг с разных сторон. Далеко откуда-то — не из окон дома.

— А! — встрепенулся красногвардеец: понял, в чем дело. Скорее домой!

Таканье приближалось к поселку.

Вот знакомая калитка, знакомый двор, знакомые сени, женский знакомый кашель за дверью. — Что за кашель! — остановился в дверях на минуту.

— Кто там? — спросил слабый голос, и дверь распахнулась.

— Ты? Ты вернулся?!

Женщина побледнела насмерть.

— Тс... А Степка где? — тихо спросил тот.

— На улице, с ребятами... — так же тихо ответила женщина и оглянулась со страха.

Потом подошла к мужу и упала ему на грудь.

II. КРАСНЫЕ И БЕЛЫЕ

Задорный народ — ребятишки: когда играют, ничем домой не загонишь.

Устроили шум и гам на самом краю поселка, там, где степь подкатывает под самые окна. А как только заслышалось из поселка — „Степка!" — шум и гам еще больше. Только Степка один притаился.

— Степка! Где ты там есть? Домой иди! — не отвечает хитрый мальчуган, в самую гущу сорванцов забился.

— Степа! Степушка!.. — долго звала женщина; наконец, махнула фартуком, ушла.

Ребятишки играют в гражданскую войну. Только никто не хочет быть белым. — Не хочу! — кричит в негодовании Степка. — Не хоцу! — протестует еще какой-то малыш.

Пришлось бросать жребий. Все стали в круг, один, черномазый, в середку. Читает черномазый куплет, каждому

играющему по слову отдает, каждому пальцем в грудь за словом тычет. Кому последнее слово — на того жребий падает.

„Ленин Троцкому сказал,
Что без войска он пропал,
Троцкий тут не унывает —
Красну Гвардию сбирает.
В Красну Гвардию пойдем,
Кто последний — не возьмем.
Уж как хочешь там, верти,
Но последний будешь — ты".

Последним вышел Петька. Следом за Петькой пошли в белые Ванька да Санька. Дальше пошли Трошка да Сережка. Ну, ладно!

Ушли белые в степь, спрятались там за первый пригорок. Хотели оттуда пойти в наступление.

Красные остались у поселка; родной поселок защищать. Дело было нелегкое. Выбрали Степку командиром и тоже стали совещаться, как открыть военные действия.

— Три человека — в засаду! — скомандовал молодой командир, — сразу в роль вошел. За старым деревянным забором притаилась хитрая засада.

— Товарищи!.. — начал было Степка, но вдруг умолк.

— Гляди! гляди!.. — зашептали мальчишки, заблестели глазенками в степь.

Белые уже пошли в атаку. Впереди всех — здоровый Трошка — один двоих побивает. — Вперед! — скомандовал было Степка. Но только двинулись ребята вперед, как уже налетел Трошка. И увидел Степка, как сразу дрогнули его красногвардейцы.

— Рота, стой! — кричит Степка. Да нет, растерялась, отступает вся рота.

— Ладно, — спокойно сообразил Степка и махнул рукой. И вихрем из-за забора вылетела засада.

Остановился Трошка, дрогнул Сережка. Побежали назад Ванька да Санька.

— Вперед! Бей их, товарищи!.. — командует снова Степка. В паническом бегстве побежали белые в степь, за пригорок. Красные принялись преследовать врага. Преследовали до самого пригорка. Тут задумал Степка выбить белогвардейцев из-за пригорка.

И вдруг — мальчишки остановились в изумлении. Только теперь заметили: явилась белым из степи неожиданная подмога. Да еще какая подмога. Целый эскадрон, все на лошадях. Фуражки красные, с малиновым околышем. С пиками, с палашами. Пыльные и страшные. Позади на тачанке — пулемет.

Бросились мальчишки врассыпную и мигом исчезли все в поселке. Один Степка остался, глаза вытаращил, рот разинул.

— Эй, шпингалет, чего рот разинул? Еще весь эскадрон слопаешь!

— Ты чей?—под'ехал кавалерист к Степке.—Чей ты сын?

— А тебе зачем?— грубо ответил Степка.

— А вот зачем!..— и кавалерист слегка хлестнул Степку нагайкой.—Будешь отвечать? А?— кавалерист поднял нагайку. Видит Степка — дело плохо.

— Буду,— тихо ответил Степка.

— Ну, кто твой отец?

— Мой отец — комиссар!— гордо ответил Степка.

— Ага!— обрадовался кавалерист.— Это хорошо! Ну, садись верхом, поедем.— и поднял Степку на седло.

— Господин вахмистр,—зашептал кавалерист другому— пожива будет.

— Что такое?— живо обернулся усатый вахмистр.

— Тут коммунистом пахнет. Надо сделать рекогносцировку.

— Ладно!— одобрительно кивнул вахмистр. И, самодовольно ухмыляясь, закрутил рыжий ус и потянул носом воздух. Понюхал воздух и прибавил:

— Тут, кажется, не одним коммунистом пахнет.

Перед поселком эскадрон остановился. Захотелось командиру чертом в'ехать в поселок. Песней солдатской честь поддержать.

— Песенники, вперед!

Эскадрон построился. Половина эскадрона — безусая молодежь. Пыльные, безусые юноши подтянулись на лошадях, надвинули лихо фуражки набекрень. — Сейчас, думали, все девки тут будут.

— Запевало, начинай!— скомандовал рыжий вахмистр и махнул рукой.

Эскадрон двинулся. И в тихие улицы поселка влилась отчаянная песня.

„Кто в девченках знает толк —
То Изюмский конный полк!"

жаворонком звонким, тенором высоким понес запевало.

„Журавель, журавель,
Журавушка молодой!"

весело грянули за ним юноши.

„Кто бывает вечно пьян? —
То Черниговский улан!"

еще звончее, залихватистее понес запевало.

„Журавель, журавель,
Журавушка молодой!.."

еще веселее, задорнее грянули за ним юноши. Позади лихо подсвистывали. Но на улицах поселка — хоть шаром покати. Поселок молчал, как мертвый.

III. РЕКОГНОСЦИРОВКА

Рыжий вахмистр и молодой вольноопределяющийся решили взять добычу „нахрапом". Когда эскадрон разбирал квартиры, наполняя поселок криком и ржаньем, стуком в подворотни, малиновым звоном шпор и командой с окончанием по-матушке, они старались незаметно миновать улицу. Проехали почти весь лагерь. Только со двора, где остановилась кухня, еще доносилась последняя ругань.

— Эй, молодец, наруби-ка дров! — кричал кашевар какому-то юноше.

— Сам наруби, не велик барин, — отвечал тот.

— Наруби, говорю, а то — не приходи за супом!

— Твоим супом мерина не обмоешь, — презрительно плюнул юноша, уходя.

— Эй, подожди! — закричал ему кашевар вслед.

— Чего еще? — обернулся юноша.

— Поцелуй своего мерина в дуло!

Наконец, крики остались позади. Рыжий вахмистр и молодой вольноопределяющийся завернули лошадей в переулок, прямо к дому бывшего комиссара социального обеспечения. Бедный Степка указывал дорогу. Притих красный командир, совсем сплоховал. Настоящий стал — Степка-растрепка.

Кавалеристы привязали лошадей и поднялись на шаткое крыльцо. Крыльцо заскрипело, заохало под ногами. Вахмистр, подымаясь, успел заметить в окне полотняное лицо женщины.

— Эй, мать, отвори! — постучал вахмистр.

— Чего вам надо? — с кашлем через сени спросила перепуганная женщина.

— Отвори, сынка твоего привели!

Брякнула было щеколда, но вдруг будто раздумала, замолкла. Прислушались оба — в сенях стало тихо.

— А, черт! — забарабанили в дверь руками и ногами.

— Отвори, мать, — хуже будет!

Снова брякнула щеколда. Прислушались кавалеристы — в сенях какая-то возня. — Не пущу, — всхлипывает будто женщина. — Оставь, Маша, ведь, напрасно! — уговаривал мужской голос.

Щеколда брякнула, и дверь распахнулась.

— Вам кого надо? — спросил мужчина, глядя прямо на вахмистра. По костюму — мастеровой.

— Ладно, наговоримся еще, — буркнул вахмистр. — Дай-ка, хозяин, поотдохнуть маленько. — Сам уже пробирался в комнату. За ним вольноопределяющийся за собой Степку поволок.

Увидел Степка отца — рот разинул. Увидел отец Степку и вздрогнул. „Конечно, — сразу вдруг про себя решил, — все выпытали проклятые". И вдруг — ноги заболели от усталости, руки опустились. Последние гаечки на руках и ногах поотвинтились.

Рыжий вахмистр оглядывал комнату, шевеля рыжими усами, как кот. Нюхал воздух. Пахнет деревом, железными обрезками, как в мастерской какой. Глянул сбоку в прищуренные глаза Ленина на стене, скривил рожу и отвернулся. Сделал вид, что не заметил Ленина. Сел на табурет. Как-то стеснялся вахмистр сразу начать.

— А что, хозяйка, твой это сынок? — приступил, наконец, вахмистр сначала к женщине.

Никто не ответил на вопрос.

— Хороший мальчишка! — сказал вахмистр.

— Прямо-таки замечательный мальчишка, — прыснув, со смехом подхватил вольноопределяющийся. — Все рассказал по порядку, как следует. Ха-ха-ха!

Женщина ухватилась за больную грудь; что-то заклокотало в груди, захотело вырваться. Мужчина угрюмо нахмурился.

А вольноопределяющийся намеренно остановился перед Лениным, будто залюбовался на портрет.

— А знаете, — вольноопределяющийся повернулся на каблуках, — я много видел всяких рож, но у вашего Ленина глаза, как у совершенного шпиона.

— Довольно, — устало, наконец, сказал мастеровой. — Говорите, что вам нужно?

— Нам нужно знать, кто был здесь комиссаром социального обеспечения? — нахально вдруг выпалил вольноопределяющийся. „Так в чем же дело, — спросил себя сначала бывший комиссар, — теперь все равно — пропал. Хоть умри, как следует!“

— Это я! — громко сказал вслух.

— Ах!.. — зарыдала, закашляла женщина.

— Коли комиссар, так значит, и коммунист! — рубанул неискушенный в делах допроса вахмистр.

— Нет, — угрюмо усмехнулся мастеровой, — формально, я не коммунист, да это все равно... — и махнул рукою.

— Правильно, совершенно верно! — со смехом ухватился за мысль вольноопределяющийся. — Обоим одна дорога! Ха-ха-ха!..

— А как вы думаете, — лукаво подмигивая, заговорил опять вольноопределяющийся, — ведь, у комиссара социального обеспечения иногда бывают реквизированные вещи, деньги и т. д.

„Выговорила, наконец, сволочь, что нужно. Молокосос, маменькин сынок!“ выругался про себя бывший комиссар.

— Нет, у меня ничего не найдете! — сказал вслух.

— Вот как! Но у всякого комиссара должно быть оружие. Господин вахмистр, разрешите начать обыск?

Рыжий вахмистр кивнул головой, и маменькин сынок взялся за дело. Заглянул под табурет, под стол — что за дрянь везде: там долото, там гвоздь, там кусочек ремня. Что ни возьмет, — понюхает и бросит.

В сундуке вещи почище. Нечаянно положил вольноопределяющийся полотенце в карман галифе. Платки также. И скоро малиновые галифе надулись, как паруса.

Наконец, обыск кончился.

— Айда с нами! — сказал грубо вахмистр. Досадно стало вахмистру, на малую поживу.

— Товарищ комиссар, пожалуйте за нами! — со смехом пригласил вольноопределяющийся.

— Куда? — тихо спросил бывший комиссар.

— К начальнику гарнизона, он же ротмистр Пален.

— Ну что ж? Маша, прощай!..

Но бывшему комиссару не удалось проститься.

— Митя! Ми... — и женщина рухнула на пол.

Тут только догадался Степка за отца заступиться. Ухватил вдруг Степка вахмистра за галифе:

— Дядинька! — закричал. — Отпусти тятьку!

Но тятьку уже повели на улицу. Сели кавалеристы на лошадей, Степкиного отца вперед пешком пустили.

— Дядинька, дядинька!.. — заревел за ними на всю улицу Степка. Страшно стало Степке. Слезы рекой пустил, со страху сопли глотает.

— Дядинька, дядинька!.. — бежит, всхлипывает Степка за лошадью.

— Цок, цок!.. — в ответ только похлопывали копыта.

IV. ЛОГИКА РОТМИСТРА ПАЛЕНА

Ротмистр Пален был человек оригинальный. Господа офицеры удивлялись его странному либерализму. Он, например, говорил так:

— Я хочу быть логичным до конца. Честь мундира, или там слава родины — это все равно, что сукно наизнанку. Ими мы прикрываем то, что нам нужно, а мне лично всегда нужна бутылка мадеры. Но пусть кто другой говорит о чести мундира, а я не хочу носить своих брюк наизнанку.

Или, например, так:

— Хвалю большевиков. Эта сволочь всегда верна себе. Для того, чтобы победить, надо уничтожить врага. До сих пор мы не додумались до простых истин. Нет, у большевиков можно поучиться логике.

Но такие мысли ротмистр Пален выражал пока только ближайшим друзьям — господам офицерам. И поэтому сегодня он в первый раз говорит на эту тему с посторонним.

На столике перед ротмистром стояла раскупоренная бутылка.

— Хвалю большевиков за прямоту, — рассуждал ротмистр Пален. — Вы деретесь за корку хлеба и не скрываете этого. А мы воюем за бутылку мадеры, а говорим о славе родины. Но я также не хочу хитрить. Я не хочу носить своих брюк наизнанку. — Ротмистр промочил горло.

— Знаете, господин комиссар, — сказал ротмистр Пален, я тоже марксист. Вас это не удивляет?

Бывший комиссар социального обеспечения решил, стиснув зубы, встретить град издевательств и потому, действительно, удивился.

— Убежденный слуга капитала (как вы называете нас) не может не быть марксистом. Мы не хуже вашего Маркса понимаем все эти „отношения", но мы предпочитали говорить о другом. Но теперь война, нам нечего скрываться: в бою неприлично хитрить!

Ротмистр сделал рыцарский жест.

— Да, — продолжал новоиспеченный марксист, держа бокал в руке, — все в мире делится только на два. Вот мы с вами сейчас изображаем весь мир. Нас двое. И нас всегда было только двое. Повелитель и раб, офицер и солдат. Да, — ротмистр Пален покачал головою, — все это правда! А ваш экономический базис! Позвольте вам доложить, что он столько же ваш, сколько и наш. Мы тоже сначала хотим пить, есть и спать, и поболее вашего хотим: у нас аппетит прекрасный! И это о нас тоже, это обо мне, именно, говорили вам ваши учителя. Именно, бутылка мадеры сначала, а потом всякая там честь мундира или слава родины. Да, — мечтательно протянул ротмистр Пален, — это они и на наш счет проехались.

— И вот, — ротмистр поставил бокал и хлопнул рукой по столу, — моя скромная бутылка мадеры загородила дорогу вашим каким-то производительным силам. Классовая борьба! О, мы признаем эту борьбу: ведь мы ведем ее! Нельзя делать того, за что не брался. Да, мы боремся и...

„Что бы им сказать напоследок?" — думал про себя бывший комиссар. Ему захотелось что-нибудь крикнуть им перед концом, умереть подлинным революционером. Он уже не удивлялся ротмистру, он его не слушал.

— Скажите, г-н комиссар, — вдруг ротмистр встал, — как вы полагаете — кто кого?

И он весь изогнулся вопросом перед бывшим комиссаром. Фигура высокая и худая. Чистейший представитель благородных сословий. И в вопросе — тоска о погибших усадьбах.

„Сказать — да здравствует Революция! Или — дорогу всемирному пролетариату! Нет, не то". Вдруг бывший комиссар почувствовал возбуждение. Ему казалось очень важным, что сказать перед концом. Решено, он крикнет: „Да здравствует всемирная Революция!".

— Да здравствует всемирная Революция! — шопотом повторил бывший комиссар. Он весь дрожал.

— Да, пожалуй, вы правы... — тихо сказал ротмистр Пален. — Признаюсь, у нас очень мало надежды. Кругом нас — стихия. А нас так мало, так мало.... Однако, это не мешает нам быть логичными до конца. Я должен быть логичен, чтобы сегодня же вас повесить.

И продолжал, как бы оправдываясь:

— Вы, конечно, понимаете меня. Я вас должен повесить по логике вещей. Пускай такой конец не отвечает вашей высокогуманной профессии (вы, кажется, были комиссаром социального обеспечения). Что ж, я должен вас повесить точно так же, как и вы...

Тут ротмистр Пален подошел совсем близко к бывшему комиссару социального обеспечения. И докончил серьезно и твердо:

— Если бы завтра случилось чудо, и я бы оказался вашим пленником, то ротмистр Пален и тогда бы не изменил своей логике. И тогда он нашелся бы, что сказать всей вашей вшивой команде.

— Жаль только — вдруг рассмеялся ротмистр Пален, — что теперь не бывает чудес. Ведь, мы с вами, господин комиссар, в чудеса не верим. Ха-ха-ха!

Бывший комиссар не слушал ротмистра. Он думал о другом. Он вдруг вспомнил товарища красногвардейца. А что с ним? Быть может, тому удалось уйти. Степь широка — не выдаст. Ветер, где надо, укажет дорогу; он уйдет. Степь — как на ладони. Ветер бежит по степи, суровый красногвардеец идет на север. Север дымит навстречу. Но он еще вернется. Он вернется отомстить за товарища.

Бывший комиссар переродился. Вдруг сильно заработал весь мыслительный аппарат (конец близок!). „Да, мы победим! — зашептал он сам себе. — Мы победим!“ С высоты неминуемой виселицы он ясно увидел это. Он ясно увидел, как кругом все выступило вперед. Он видел миллионы. Они уже идут с севера. Они всех раздавят. Они сейчас раздавят этого несчастного ротмистра со всем его эскадроном. Дорогу мировому пролетариату! Да здравствует социальная Революция!..

В груди пламенело, как в горне. Горячий металл полился по жилам вместо крови. Он опять кипел, как некогда в своем сталелитейном.

Бывший комиссар совсем забыл про жену и про Степку.

V. ЮНЫЙ ПАРТИЗАН

Когда отца вели на широкое место — на базар, Степка бежал позади, ревел, как теленок, и всхлипывал.

— Дядинька! — хватал он рыжего вахмистра за галифе. — Дядинька, отпусти тятьку!..

Вахмистр уже дал ему хорошего пинка. Степка упал, но тут же подхватился опять. Поддерживая разорванные штанишки, он зашлепал босыми ногами за процессией.

— Дядинька, дядинька!.. — приговаривал Степка кому-то.

Маменькины сынки смеялись: прореха на штанах у Степки как раз на том месте.

— Эй, малыш, придержи калитку — петуха выпустишь!

— Дядинька!.. — в ответ приговаривал Степка.

На базаре кавалеристы выстроились полукругом. Степку совсем оттеснили от отца. Отца со связанными руками поставили у столба. Кто-то со смехом прицепил ему на грудь лист бумаги, с надписью. Ветер заворчал и сорвал бумагу, но кавалерист опять прицепил ее.

Когда к отцу приступил другой — с веревкой, Степка вдруг обезумел.

Он рванулся вперед, подбежал опять к вахмистру и весь повис у того на ногах.

— Дядинька! — заревел Степка, как полоумный. — Дядинька!

— Ах ты, сукин сын! — свирепо крикнул рыжий вахмистр и стряхнул Степку с ног. — Плетки захотел! А ну, — обернулся вахмистр к людям, — дайте-ка этому комиссаренку!..

Сильные руки подхватили Степку под мышки и понесли. Степка отбивался руками и ногами, барахтался и визжал.

— Дядинька!.. — все кричал он попрежнему. Наконец, озлился и укусил за руку.

— Ах ты, гнида! — выругался кавалерист и дал Степке затрещину.

Степке пригнули голову, она оказалась между двух штанин галифе. Штанов со Степки не спускали, прореха была достаточна и как раз на нужном месте. Степку начали пороть.

— Аааааай! — заревел он благим матом от одного удара нагайки. Ему показалось, что на него брызнули кипятком.

Сначала Степка рвался и метался между штанин галифе, старался выдернуть голову, брыкался ногами — все напрасно: Степку забрызгали нагайками.

— Аааааай!.. — как начал Степка кричать, так и кричал до конца порки. Только под конец все тише и тише. Под конец было не так больно.

— Ну, комиссаренок, получай последнюю! — и нагайка в последний раз погладила Степку. Штанины галифе раздвинулись, и Степка упал на землю. Он лежал и вздрагивал уже по инстинкту.

— Лежи теперь, отдыхай! — смеялись кавалеристы, уходя.

Было уже не больно. Но Степка продолжал всхлипывать и стонать от злости. Страшная злость вдруг охватила Степку. — Ладно! — грозил он кому-то, продолжая всхлипывать.

Степка решил убежать. Он убежит в степь, в камыши. Станет разбойником. Он соберет себе шайку и сделается атаманом, как Стенька Разин. А потом придет и перебьет всех белых. Он тоже будет стоять за бедняков, как Стенька Разин.

— Ладно! — опять погрозил кому-то Степка.

Наконец Степка поднял голову и оглянулся кругом. Возле него никого не было, и начинались сумерки. Свежий ветер погладил его по голове, по волосам, притронулся к больному месту. Стало совсем не больно.

Степка вскочил на ноги. Обернулся назад и показал кулак белым.

— Ладно же! — еще раз погрозил и побежал в степь.

Сначала бежал скоро: все казалось, что его хотят догнать. Несколько раз спотыкался и падал. Когда споткнется и упадет, то лежит смирно и прислушивается, отдыхает тоже. А когда забежал далеко и трава под ногами выросла большая,— пошел тише: теперь не догонят.

Степке не страшно. С мальчиками он не раз заходил далеко в степь. Теперь он пойдет еще дальше, в камыши. В камышах он еще никогда не был. От отца и других взрослых он слыхал, что там прячутся какие-то партизаны. Ладно, он теперь сам станет партизаном.

Степка шел долго. Ноги стали путаться в траве, он опять стал спотыкаться. Он уже очень устал. Босым ногам стало холодно и мокро. Роса ложилась на траву. Степь темнела все больше. И Степке понемногу стало страшно.

Он стал останавливаться и прислушиваться. Разные звуки доносились со степи. То слышалось будто ржанье коней, то будто тихонько побрякивали шпоры. — Это за ним погоня! — мелькало у мальчика. В страхе он опять бежал по высокой траве.

Он не думал ни о волках, ни о каких других зверях. Сейчас он больше всего боялся белых. Они хуже, чем волки. Сломя голову, он бежал от них в камыши.

Между Старым и Новым Доном и по сторонам тянется бесконечный лес камыша. Высокий и густой: целый полк спрячется — не видно. Целый полк спрячется — не слышно, хотя бы с лошадьми и обозом. Здесь вечный шум, царство камыша и ветра.

По ночам в камышах, то тут, то там, вспыхивали и потухали костры. Было сыро и свежо в царстве камыша и ветра, партизаны грелись у костров, зажигали цыгарки.

А далеко, из Аксая, из армянских деревень, костры казались болотными огоньками, таинственными, блуждающими огоньками. Были такие, что знали. И, глядя на огоньки, думали о том, как в камышах партизаны грелись у костров.

— Ишь, гудит! — говорили между собой партизаны, слушая камыш, — ровно вся деникинская кавалерия. Камыш мощно гудел.

— Этта кавалерия, братцы, — быстро заговорил один партизан, — сичас пьяным-пьяна спать развалилась. Сичас связь из поселка пришла, рассказывали...

— Ну? — партизаны подобрались к рассказчику. — Что еще слыхать?

— Один эскадрон — и тот пьяный. Наши порешили наступать на поселок. Заводские поддержать тоже обещали, дожидают.

Кое-кто лязгнул винтовкой. — Правильно решили!

— Еще, товарищи, новости есть! Вчерась в камыши мальченка один прибежал, Митьки комиссара сын. Плакал мальченка, что отца повесили.

— Жаль Митьки! — партизаны угрюмо замолчали.

— Ладно, малыш, не плачь, — сказал, наконец, один, — за отца отомстим вместе.

Все молчали, слушая камыш. Камыш гудел и угрожал.

Так Степка стал партизаном.

VI. МЕСТЬ ПАРТИЗАНСКАЯ

С утра — ууу!.. — медленно и протяжно завыл гудок. От заводских корпусов гудок побежал по всем крышам, по всему поселку. Везде кричал: — Вставайте!

— Вставайте! — с другого конца закричал другой гудок, потом третий. И скоро стальные петухи затянули со всех сторон, будто перекликаясь. Все утро выли гудки.

Ротмистр Пален проснулся, с изумлением нюхая воздух. Непривычные звуки ходили по комнате, лезли в уши. Ротмистр окликнул вестового: одеваться. Пьяный, как стелька, вестовой спал в сенях. Ротмистр Пален выругался в сени, вестовой все не являлся. Снова выругавшись, ротмистр встал было с койки, но вдруг сел обратно. Он ясно услышал звуки выстрелов. Мысль мелькнула в уме, будто хлестнули нагайкой ротмистра. Едва надев сапоги со шпорами (вестовой не снял шпор на ночь), он бросился к окну.

По улице пробегали ошалелые кавалеристы без шапок, растрепанные. Сбитые с толку хмелем, натыкались друг на друга, кричали и ругались. Некоторые выводили лошадей без седел, вскакивали, держась за гриву, и с топотом исчезали. Только взвивалась пыль. Гремели выстрелы.

И вдруг оглушительный выстрел грянул под самым окном. Ротмистр с'ежился.

Он увидел, как пробежали под окном незнакомые мохнатые фигуры, услыхал незнакомые голоса.

— А, молокососы, пьянчужки! Бей их, товарищи!

Фигуры уходили вперед, кого-то преследуя, выстрелы и крики — также.

Улица тут же наполнялась народом в пиджаках. Пиджаки здоровались с партизанами.

Слышались веселые возгласы:

— Ловко захватили. И опохмелиться не дали.

— Штанов даже подобрать не успели. Так без штанов и ушли.

В другом месте пронзительно кричали мальчишки:

„Ленин Троцкому сказал..."

Мальчишки уже сорганизовали красногвардейский отряд и маршировали с красным флагом. Впереди всех — командир. Знакомым показалось ротмистру смелое лицо командира. Ротмистр Пален все понял. Он весь задрожал за свою выхоленную шкуру. Энергично, даже с яростью, он принялся отрывать с плеч погоны. Золотой погон хорошо пришит — не уходил с плеча; острые волчьи зубы пошли на помощь рукам. Раз, два — один за другим погоны упали на пол.

Ротмистр быстро оглядел комнату. На хозяйской вешалке повис всякий хлам. Старый замасленный пиджак теперь сослужит службу. Пиджак широкий и просторный. Щеголеватый френч ротмистра весь укрылся под рабочим пиджаком.

Теперь ротмистру надо как-нибудь выбраться на улицу. В пиджаке никто не узнает ротмистра Палена. Свернув, легко укрыться в глухих кварталах.

Не долго думая, ротмистр юркнул в сени, перескочил через пьяного вестового, шмыгнул дальше — на крыльцо, во двор. Судьба улыбнулась ротмистру — нигде никого не было. Ротмистр выбежал на улицу.

До переулка недалеко. Надо не возбудить подозрений, и ротмистр попробовал итти спокойно.

Он шел, стараясь не спешить, опустив голову. Вдруг он вздрогнул от неожиданности, услышав впереди команду.

— Рота, стой! — грубо скомандовал Степка своим красногвардейцам. Рота остановилась прямо перед опешившим ротмистром. Ротмистр попятился назад.

Но спасительный переулок близко. Ротмистр уже обошел отряд, оглядываясь на молодого командира. Оглянулся еще и заметил, что Степка поглядел на него. Ротмистр прибавил шагу. Вся рота обернулась и поглядела ему вслед. Ротмистр согнулся от страха и побежал рысью в переулок.

В переулке тише. Песни и крики остались позади. Ротмистр Пален перевел дух.

Но это что? Ротмистр вдруг ясно услышал за собой какие-то странные звуки. Будто колокольчики позвякивают где-то. Он побежал еще быстрее. О, ужас — странные звуки усиливаются.

Он прислушался набегу. Не то собачка тявкает позади, не то детишки кричат тонкими голосками.

Бежит ротмистр и прислушивается назад. Нет, это не собачка. Он теперь явственно слышит топот мальчишеских ног: мальчишки бегут и кричат. За ним погоня.

Топот ближе. Это уже не одни мальчишки. Ротмистр уже слышит топот тяжелых сапог. Странные звуки тут же, увиваются, путаются почти прямо под ногами. Не то собачка, не то колокольчик.

— Эй, товарищ, погоди! — кричали ему сзади.

— Погоди, шпоры потеряешь!

Ротмистр Пален вздрогнул и остановился. С изумлением посмотрел под ноги. На ногах нежно побрякивали шпоры.

— Ах, проклятые!.. — выругался с отчаянием ротмистр Пален.

Ротмистра кругом обступили мохнатые фигуры. — Кто такой? — Грубые руки обыскивают ротмистра, полезли под пиджак. Щеголеватый офицерский френч улыбнулся под пиджаком.

— А, ваше благородие! Здравия желаем!

Ротмистр задрожал от страха.

— Братцы!.. — пролепетал ротмистр Пален.

Минуту мохнатые фигуры грозно молчали.

Вдруг один молодой партизан подскочил вплотную к ротмистру, взял руку под козырек. И зарапортовал по-солдатски, оскалив зубы.

— Рапортую вашему благородию, что ежели вы, как командир, так пожалуйте вперед. Шагом марш!

Ротмистра толкнули вперед. Началась команда.

— Ваше благородие, тверже шаг! — и партизан с размаху влепил ротмистру приклад в спину. Ротмистр качнулся вперед.

— Ваше благородие, выше голову! — другой приклад в'ехал прямо в зубы. Ротмистр зашатался.

— Братцы!.. — лепетал ротмистр Пален, шатаясь от приклада к прикладу, от удара к удару, как лист по ветру. — Братцы!..

Раз! — ротмистр качнулся вправо. Два! — ротмистр упал на землю ничком. Приклады забарабанили по спине. — Лежи, шкура барабанная! — ругались партизаны.

Когда уходили, последний толкнул ногою ротмистра. В ответ только жалобно звякнула предательская шпора и замолкла.

Так ротмистр ничего и не сказал вшивой команде. Ротмистр Пален изменил своей логике.

А в это время рыжий вахмистр собирал в степи остатки эскадрона. Не дождавшись ротмистра, вахмистр принял команду и повел осиротелый эскадрон дальше, в степь.

Маменькины сынки притихли. Половину эскадрона — как корова языком слизала. Месть наседала по пятам. Маменькины сынки призадумались — что впереди?

Но рыжему вахмистру надоело молчать. Когда от'ехали далеко в степь, вахмистр скомандовал: — Подтянись!

Кавалерийские сердца вздрогнули на знакомый окрик. Маменькины сынки подтянули повода.

— Запевало, начинай! — опять скомандовал рыжий вахмистр. Высоко и протяжно начал запевало:

„Вспоили вы нас и вскормили,
Отчизны родные поля!.."

Понес и понес запевало тенором высоким протяжную песню, прямо в широкую степь.

„За что беззаветно взлюбили
Тебя мы, родная земля?"

Пели серьезно. Песня дышала тоской и любовью. Маменькины сынки дышали воздухом родной земли.

Рыжий вахмистр не любил распускать нюни. Ему казалось, что поют слишком вяло.

— Не отставать! — командовал вахмистр.— Все петь, дармоеды! — тихонько доканчивал команду.

Дармоеды подтянулись на седлах. Громче и восторженнее катились признания в степь:

„Вспоили вы нас и вскормили,
Отчизны родные поля,
За что беззаветно взлюбили
Тебя мы, родная земля!..“

Степь с удивлением слушала маменькиных сынков и молчала.

Василий Рунин

Коммунарка

I

Ты еще подростком в дни осенние
Жизнь свою взвела на взвод:
Полюбила партию и Ленина
И ушла на фронт.

Твою стриженую русую головку
Я не раз потом видал в огне.
В серой шинели, с винтовкой,
На заезженном хромом коне.

Вечно с нами и всегда веселая,
Ты была товарищем — бойцом...
Но, однажды, в балке, за селами,
Нас зажал отряд в кольцо.

У костра — в тумане гнойной осени —
Сердце, как английский пулемет.
И тогда тебе мы вызов бросили,
Что в разведку — твой черед.

Я видал, как вспыхнула ты кровью,
А в глазах — костер.
Ты была тогда такой огромной,—
Гордая, готовая на все.

Перекинув через плечо винтовку,
И поправив патронташ свой,
Ты сказала твердо, с расстановкой:
„Ну! — кто со мной?"

И ушла с двумя красноармейцами.
Мы услышали потом стрельбу...
Через час я видел твое тельце
С черной раной в побелевшем лбу.

На патронах в немецкой бричке,
С отступающим в город обозом,
Ты стонала, искривив личико,
И глотала кровь и слезы.

В этот миг даже мыслить страшно,
Когда пулемет смертью косит,
А я вдруг полюбил тебя, отважную,
И уткнулся поцелуем в волосы.

Потом щелкнул маузером
И заорал: „пошли вперед!“
Была стычка внизу у озера,
Под ногами ломался лед...

В эту ночь нам было жарко-жарко,
А под утро мы отступали в горы.
Кто-то вспомнил: „товарищи, а коммунарка?“
И я ответил: „осталась в городе.“

II

На рассвете, с кровавым флагом,
За туманом болотной просини,
Мы чеканили бетонным шагом
Замороженную грязь осени.

Нам кивали фабричные трубы
Присмиревшего покинутого города,
И щелкали затвором зубы
У каждого от злобы и холода.

Лязг. Ругань. Вправо
Глухо били орудия.
Мы неслись лавой
Взвод за взводом. К полудню

Спешили в строй „тачанников“...
Выстрелы... вниз по обрыву...
Топотом в мост — паника!
Свист!.. Вихрь!.. Взрыв!..

Я кричал, надрывая горло,
Перепуганным насмерть взводам:
В цепь! Поворачивай проворно
Тачанки влево!.. Бродом!

Артиллерия с лязгом, грохотом
Пронеслась, а вослед свирепо
Забарабанили кольты дробью
По разодранной крыше неба.

Гулы ближе, сильней, смелей...
Над головою — свист — перелет...
Под учащенные вспышки огней
Бешеный бег вперед.

Стой! Стой!.. Ложись!
Мать твою..., в бога! Влево!
Что это? — наши, кажись,
С фланга летят. Потемнело.

Свист!
Вихрь!
Взрывы!..
. . . . . .

III

Очнулся. Грудь перевязана...
На бинтах кровавые всполохи:
Это вчера увязло
В теле огнем и порохом.

Кто-то в окно — или сердце? —
Стучал, как град по стеклам,
И не хотелось вериться
Мысли, что жив и в теплом.

Онемевший, лежал трупом.
Слушал. Сосед-пулеметчик,
Перекосив распухшие губы,
Шептал о лихом налете:

Мы их верст двадцать гнали,
Захватить только не удалось,
И еще, вот, отбили раненых,
Но потом вновь бросили.

Там и разведчица наша...
Ну, брат, бой-баба:
Голова — в кровь... смотреть страшно,
А она палит и — ладно!

Мое сердце стучало баклажкой,
И я ждал: вот-вот со всей мочи
Пироксилиновой шашкой
Рванет оно в небо клочья.

Всю ночь я метался, бредил,
Мне снилась она — смелая,
А утром сестра милосердия
Сказала: в городе белые!

IV

Мы не встречались долго-долго...
И однажды в Губкоме, в здании,
Мне сказали, что вон та комсомолка
Имеет Орден Красного Знамени.

Я узнал тебя, русая головка,
И твои серые, как снаряд, глазки.
Но какая ты в этой обстановке —
Мягкая и ласковая!

Даже румянец исчез — бледная,
И между бровей складка...
Да, мы не виделись годы наверно,
Прошлое у нас не гладко.

У тебя и у меня раны,
А на нервах печать революции...
Мы с тобой — ветераны
Дней в истории наилучших.

В жуть и темень опасную
Ждать не желали более:
Кровью своей перекрасили
Долгие ночи в зори.

В наших мозгах и мускулах
Нет еще усталости,
И пусть за плечами юность
Под Перекопом осталась.

Нам не жалеть о прошлом,
Мы, ведь, из самой гущи.
Старое с плеч сброшено:
Идем в Грядущее!

А. Сорокин

Против ветра

РАССКАЗ

Голосом, пугающим, как кровь, надувая бурачные щеки, полковник чеканил:

„Безумие, бесчестие и предательство некоторых пехотных частей вписали в историю свободных русских войск такие черные страницы, которые не забудутся во веки-веков..."

Пуговочные глаза ощупывали блесткие погоны офицеров, оружие и на несколько мгновений защемили председателя полкового комитета длинноголового, круглоглазого латыша Эрдмана...

Умирающая осенняя муха звенела, постукивая в стекло, словно вырываясь из махорочного воздуха комнаты полкового комитета в желтый, медом разлившийся день...

„Русская армия не знала подобного позора, не знала такого срама и стыда, и наши старые полковые знамена никогда не опускались так низко в руках отцов и дедов..."

Полковничий голос крепчал, как ветер в бурю, затылок затекал малиновой кровью и на лакированной лысине в янтарном луче светились капли пота.

„В продолжение этих мрачных, кошмарных дней, когда бегство полков доставило сатанинскую радость германскому императору, всего лишь несколько полков выставило свою железную грудь врагу...:

„Слава вам, верные и доблестные сыны России!

„Слава вам, бестрепетные сыны России!"

Голос треснул. Мелькнул клетчатый платок, обтиравший лысину.

Заколебались неживые офицерские фигуры, звякнули шашки, а под твердыми усами Эрдмана сжались, словно от боли и обиды, губы.

И вновь чугунным грузом упала тишина...

Кованые слова выбросил мясистый и злобный рот:

„Зажмите скорбь, станьте беспощадными. Этого требует долг и родина...

„Мы вынуждены на последние меры..." Осекся, промедлил:

„Приказываю воспретить всякого рода митинги в сфере боевых действий и, в случае попыток собрать таковые, считать их незаконными сборищами и рассеивать огнем. Всех, замеченных в большевистской агитации, арестовывать и предавать военно-революционному суду, как шпионов и изменников родины... Означенный приказ считать боевым и не подлежащим никакому обсуждению, не исключая и комитетов..."

Будто крючком взор полковника поддел Эрдмана и, встретив синюю бледность, отскочил...

Полковник повернулся к ад'ютанту. Собрание молчало...

Эрдман зачем-то у окна поймал звенящую муху и бережно выпустил ее... Его рука отяжелела, а губы раскрылись, пропуская жадно глотаемый воздух...

„Потрудитесь честно выполнить приказ! Я кончил..."

Квадратная полковничья спина уплыла, колыхаясь...

Потекли из комнаты, блестя погонами, офицеры, укалывая торжествующими взглядами и улыбками предкома.

За окном взмахивали руками в споре серые шинели с пустыми выцветшими глазами, с запыленными отжившими лицами, похожими на оберточную бумагу...

Эрдман, взглянув в окно, вспомнил такой же желтый медовый день, проволоку и под ней разорванный прошедшей ночью колючками лоб, с'еженный морщинами, залитый коричневой болью, и одинокий удивленный глаз своего соседа по какой-то ночной атаке...

И у него самого гармошкой смялся лоб...

Рядом вдруг цокнули ад'ютантские шпоры: „Полковник вас просит к себе..."

Избегая слова „товарищ“, рассматривая на эрдмановской шинели цвелое пятно, полковник маслил скользкими подогретыми словами: „Ну, вот видите, Эрдман, до чего довели... На фронте, доложу вам, разговаривать не приходится... Вы понимаете... Победи, спаси революцию, а потом и митингуй, сделай милость... Я всегда говорил... Наконец-то, там наверху одумались... Я, верьте-не верьте, сам республиканец... Но я пока здесь солдат и потому до победы на рот замок повесил... Законопатил его... Так-то...“

Дробь щелкала из-под его короткопалой руки, и слова проползали по Эрдману волосатыми гусеницами, заливая слизью...

Снизу к горлу катился загружавший голову жар, и тонкими иголками тревожилось его крепкое, как камень, тело... Эрдман цепенел, и прогорклое масло разливалось во рту...

Хитро щурясь, пододвинулись вплотную бурачные щеки с пуговками, и понял Эрдман, что слизь на нем от глаз полковничьих, гнилых и скользких...

„Вы вот что, Эрдман, бросьте это... К чему горло драть... Смех один. Дайте слово... И конец, ей-богу... Будто ничего и не было... Ну? А с моей стороны поверьте...“

Рука по кривой линии легла на плечо. Эрдман дернул плечом, отступил немного и желтыми и тревожными глазами, как родные балтийские дюны, ожег всего от блестких сапог до потеющей лысины, бросив деловито и усмешливо: „Делайте свое дело, полковник, а я...“ Свалил рыжую голову на бок, казалось, засматривая в рот, и закончил: „А насчет слов — пустое... Честных слов большевики полковникам не дают... Так-то...“

Прелым листом и маслом пропах мотоциклет Кузя Гусько...

От осени и машины — запахи... Сидеть ему на лавке неровно и неловко, да и по земле ноги узловатые и кряжистые бредут на-ощупь. Другое дело седло да педали — врастает в машину.

Не поймешь, где Кузина куртка да штаны, где машинное, горячее от бега, железо... Вместо лица, двухугольный подбородок под губатым, с хлебными зубами, ртом. Над ним — стекла в коже под навесом козырька... Чудовище: хлопает,

трахает. Для лошадей чистое наказание... Оттого у Кузьки с обозниками ругань... „Чертяка вонючая...“

Без машины Кузя, что без штанов, невдалый и робкий. Вот и сейчас ерзает, не знает, куда руки сунуть: нет руля. На Эрдмана глядеть избегает и бурчит что-то... Должно, думает вслух...

„А ты, товарищ, слушай,— слова мягкие у Эрдмана, будто горло на ватé,— митингам, видишь, крышка теперь... газета нужна... ею работать будем...“ Кузя вытягивает голову, вскидывает глаза: глазами слушает — ухо от машины мертво у него...

„Ну как, товарищ Кузя, понимаешь?“ — гладит Эрдман: „Из армейского гаража возить будешь... Там наши товарищи... А?...“

Кузю прорвало: „Да што говорить, моя машина — Бенц. подходящая...: А я для этакого дела... Еще в Питере на Путиловском мальченкой слыхал: труд на капитал накинуться должен — понятное дело, отказу нет...“ Мычанье стирает слова... Говорить Кузе труднее, пыльные бешеные версты глотать легче... С кем в поле говорить, со столбами гудящими разве?!

„Вот и хорошо, товарищ... Пакетик не жирный, да важный. Под куртку, што ли... Ленин живой в нем... В поле передавать будешь, знаешь Колючку из второй роты, а он — в окопы, и наладим...“

Эрдман черкнул что-то на бумаженке и зажал корявой с рыжим волосом рукой хваткую мозольную руку Кузи, подавая записку...

А в ней: „Этот — наш... Нужны газеты. Эрдман“.

Припади ухом к захолонувшей земле и слушай. Слышишь... будто табун пробегает... Четвертая осень жахлая, взрытая...

Ветер и тот налету изранен, к травам, колтунами сваленным, спотыкаясь, падает... Сосна иглы сыплет под пулями... Так... Под завечеревшей опушкой воздух шарахает: не то выстрел, не то ветер...

Лежит осень: медью на лес, холодком в ветер, тряпкой, расползшейся, на небо, морщиной на переносице, пустотой в глаза раскинулась... Коченеющей лежит...

А там, где, накрывшись кустарником, врылись австрийцы, хрустит что-то, будто давят ломкий валежник, да, нечасто ругаясь, зло шьет свинцовую строчку пулемет, расстреливая нависающий мокрый покой...

Скрюченно прячась от смерти, гнется окоп...

В квашеной глине, подостлав замызганную шинелишку, с'ежился Мотька Колючка, картузом — блин, мятый, кислого цвета — завесил гляделки..., нос, застывший от ветра, прячет в проволочных усах...

А рядом винтовка. Мал ростом Мотька, винтовке в придачу дан. В голове у Мотьки мысли жерновами кружатся...

Навалился сырой ветер... Дернулся Мотька, охнул жалобно...

Добыта-а-а сво-бо-да...
Для вси-во на-ро-ду...
Э-эх! Солдатик беднай...
Жди конец победнай...

Кинул в ночь...

Побрел к соседу за серничком... „Браток, засмалим подарочек питерский".

„Табачок дорогой, заместо свободы, нам прислан... И на том спасибо!.."

Бородач сосед шелестит листовкой, сворачивая козью ножку...

Поддерживает: „А мине мыло духовитое дадено, наводи глянец, значит".

Огонек серника прыгает в Мотькиных глазах и будит их...

Выглянул из окопа:

Эх, австрийские вы Франци,
Поскидайте с себе ранцы...

Садится на корточки, вздыхает больно: „Вишь, ветерок, дунул, и нету его... найди... так и жизнь наша... дунешь, порошок один... Гной, стало-быть, мы, а на нашем гное ягода ядреная для них растет... И-эх..."

Звездой колется цыгарка бородача: „Опять-таки, к примеру, Миколая изничтожили, а под Миколаем слобода лежала, ну и пустили ее по Рассее лететь, а на хронт не залетывай!.."

„Птица она — не наших краев, наша птица свинцовая... Людей еще правильных не видать... Ерман — вот человек,

башка у него поместительная, навар в ней подходящий, и революция в его глазе видна... Мотька дрожит от волнения: „Слышал, небось, родины теперича, калякают, нетути? Отменили што ли...“

„Так пущай, значит, до дому! — Чево там?“

Кричит ночная птица криком, похожим на Митькин натужный вздох, нежданно щелкает выстрел, и снова холодная тишина укладывается спать в траву.

„Ни к чему это!“

— Ты о чем, браток?

— Он, вишь, расход только напрасный делает своему царю... Потому, значит, у них, непременно, свобода об'явиться должна...

— Патронов у них сила, а ни к чему...

— Наши, третьего дня, в темь к ним ходили... „Стоит, грит, под сосною австрияк. Мы к нему так и так, поздоровкались. Лясы точим. А только он морду воротит, а луна возьми и выпади тут. Глянь, а глаза его на слезах стоят. Вот оно, землячок, и понимай, значит, про войну... Леденец она им, што ли... А резонт такой: самим, без бар, замиряться надо... Вот оно дело-то какое...“

Вплотную придвинулась борода: „У Керенского, сказывают, семьдесят пять миллионов капиталу сложено, и лежит он во царевом дворце, и все по порядку происходит...“ Докурены козьи ножки. Плевок последний шлепается в глину... И, как последняя боль, вылетают глубоко лежавшие слова: „На деревню бы, Курской мы... Бабу свою жалею...“ Молчание...

Под утро Мотька лезет за голенище и сует бороде листовку. „Ты, землячок, схорони. От Ермана она... Почитать дай потом кому! . Слова в ей настоящие, правильные!..“

Словно стекло, бережливо в картуз кладет бородач листовку, по-птичьему отряхивается, мотает бородой, и, помянув мать, посылает в растекающийся туман ненужную злую пулю...

„Ты, Гусько, тово, в момент доставь!.. Важнючие, брат, дела... Наши на телеграфе передали, а офицерня до проверки задерживает... Так ты...“

Затянул пояс Кузя потуже, на машину и — сгинул, стреляя и трахая, в густую липкую ночь...

Черная вода льет в глаза... Небо безглазое давит. Будто тучи на землю летят...

Ссутулилось Кузино цепкое тело, головой на руль упало, бежит с машиной в ночь... Впереди глаз белый круглый лежит, дрожа, ночь кусает беспомощный фонарный луч... А ночь стоит... Ветер навстречу ночи кинулся, лопочет неведомое, полой куртки, как крылом, машет... Темь черная и свист... Ну, ну... Голову ниже... Против ветра...

Щелкает и выстукивает машина... Хрустит, отскакивая из-под резины, щебень. Ну! Ну! думает Кузя... „Посмотрим!" Кричит заливчато: „Эгэ-гэ-э..." улыбается только тьме да ветру известной улыбкой и вбивает: „Эгэ-гэ-э" криком свистящим и одиноким...

Бегут машина и ветер... Ночь ..

Ад'ютантское ухо услужливое, а язык немногословен... доложил и замер пред полковником. Засуетились глазенки полковничьи, и морщинистый голос встревожился:

„Газеты? Откуда? А?" побежал вдоль комнаты куриными шажками. „Понимаете: канителить дальше — родину зарыть... Эрдмана с братией спрятать и подать мне газетчика... Честь, головы наши к чорту, или газета! Выбора нет... А тут еще Ставка молчит... Быть наготове!.." „Слушаюсь,— в эту же ночь" . . . . . .

. . . . . .

Комитет арестован.

У Мотьки голова ходуном пошла... Мечется... Дело выходит серьезное. К телеграфистам бегал — на ад'ютанта наткнулся, едва ушел. На позициях что-то шумят сегодня... Узнать, кто комитетчиков караулит, своих по ротам оповестить, а тут Кузька на шоссе — спеши...

Невидимою тенью шел быстро на вторую версту... Молол жерновами; вышло: на одного Кузьку расчет теперь...

А ночь сжала лес, шоссе, травы... Гонит ветром Мотьку...

Тревожно... А ноги легкие, будто ветер ими играет...

Лег в ярку, картуз бросил... Треплется линялый, как ковыль осенний, волос, а глаза щупают ветряную темь...

Осиливая ветер, тявкают обозные собаки, да стучат, будто кровельщик на крыше, винтовки...

„Домой ворочусь, железом крышу накрою".

Голова тяжелеет, а тело какое-то порожнее: „Эх-эх! Без комитета и дома не видать... Что делать-то? Что?".

Мыслей твердых нет, а лежат в голове одни колючие злые слова...

Тянет с мокрых трав кислой осенней полынью...

По-звериному по ветру ставит Мотька ухо... Не слыхать...

Встает, глазом рвет ночь... Нет огня. Нет...

Стал против ветра. Задохнулся сразу... Глухими прилетели лоскутья голосов и цоканье шпор... Слушает...

Подходили быстро: по ветру летишь... И задрожал Мотька, не от страха, а пред тайной... Как Мотьке тайну узнать?

Голова-то у него тяжелая... Плыл быстрый ветер. Подходили...

„Вы, поручик, здесь ложитесь, а я с той стороны. Как только сравняется,—с двух сторон и возьмем. Пулей с машины снимайте... Без окрика. Обделать надо чисто... Не то полковник..."

И, разбрасывая щебень, полез на шоссе...

Мотька полз ужом, пригибаясь к редкой траве... Шинель бросил в ярку, шуршала под ней трава... Шуму побоялся... Решился:

„Лётом в роту... Изложу... Офицеры, мол, Кузьку на второй версте стерегут... Вот оно што... А там..."

Выполз в поле. Побежал... Поспеть бы... Ноги рвут траву, под ветром легшую. Вспотели плечи, и внутри потное все...

В боку что-то пойманной птахой бьется... Рот раскрыл...

Обжигает и гудит в нем ветер. Бежит...

А ветер звонкий, пахучий, насупротив...

Три пули вылетели навстречу белому глазу... Выскочили на шоссе... Раненым конем заскакала машина, замирая, и, упав, трепетала в грохоте...

Без слов пустили еще пулю... Кузька никого не видел сквозь потные от тумана очки... Падал сразу в свою последнюю ночь...

Тормошили тело, пальцами загребавшее щебень... Торопились, заскочил пояс... Ветер листом закружил и понес ад'ютантскую крепкую ругань...

Когда по ветру, колыхаясь, приплыли говор и шаги, блеснуло испуганное пятно фонарика, упавшее на бумагу...

Сразу приникли, и голос, от неожиданности плотный и острый, хлестнул двумя фразами: „Зимний взят, большевики у власти...“ в ветер, в травы, в трепыхавшийся в клочках туч заревой кумач...

Петр Жаткин

СТАТЬИ

Подготовка Октября

ВСТУПЛЕНИЕ

Десятки лет рабочий клас России вел упорную борьбу против царизма и капиталистов. Нередко в течение этих десятилетий выступало против помещиков и крестьянство. Революционное движение особенно глубоко захватывало массы трудящихся в периоды напряжения государственного организма. К 1905 г. рост революционной волны достиг величайших размеров. Пролетариат во многих местах пошел приступом против царизма, убедившись в невозможности разрешения своих вопросов мирным путем. Вооруженное восстание рабочих Москвы и других пунктов было смелой попыткой свергнуть вооруженный до зубов помещичье - дворянский строй, возглавлявшийся царизмом. Но в этот период царизм смог опереться на часть крестьян, служивших солдатами в гвардейских полках царской армии и на казачество — и задушил революцию. Жесточайшая реакция сменила период „свобод". Царизм, растерявшийся в первый период революционного натиска и пошедший на уступки либеральной буржуазии, к концу 1905 года сумел собраться с силами и, организовавши повсеместные еврейские погромы, пошел в наступление и залил кровью рабочих и крестьян всю необ'ятную Россию. Сотни тысяч революционных рабочих и крестьян были расстреляны и повешены карательными отрядами, разгуливавшими по всей России для „установления порядка" и „успокоения" населения. Сотни тысяч пролетариев пошло в тюрьмы, ссылку и поселение. Царизм вышел победителем,

трудящиеся были разгромлены. Царизм получил от французских капиталистов иностранный заем, который помог ему закрепить победу и удержаться еще несколько лет. После потерь 1905 года и неоднократного разгрома рабочих организаций, после 1905 года, рабочий класс и крестьянство были чрезвычайно обессилены. Только с 1912 года начался новый взмах революционной волны. Царизм продолжал расстрелы рабочих (расстрел на Ленских золотых приисках), но рабочий класс окреп настолько, что его голос начал звучать все громче и громче. Назревала снова революционная схватка, хотя революционные силы и не были достаточно об'единены. Царизм вступил в мировую войну, сумел снова разгромить революционные организации пролетариата и разбудить шовинизм в широких слоях населения. Но этот удар по революции не надолго отсрочил решительное выступление. Тяжесть войны ложилась на плечи трудящихся, которые все больше и больше задумывались над вопросом: кому нужна эта война.

Десятки миллионов рабочих и крестьян, лучших молодых сил, было оторвано от производительного труда и брошено на фронты, в окопы и на фабрики и заводы, работавшие на оборону. Живой и мертвый инвентарь изымался из сельского хозяйства и бросался в пасть богу войны. Оборудование фабрик и заводов изнашивалось и не восстанавливалось в достаточной степени. Напряжение сил страны было необычайное, а результаты были чрезвычайно слабые. Масса продуктов и материалов гибло на военных складах и на фронтах, почти все время армии то на одном, то на другом участке фронта терпели поражения, а конца войне не было видно. В это же время буржуазия богатела на военных поставках и почти ни в чем себе не отказывала. Генералитет и офицерство жило своей особой кастовой жизнью, не задумываясь о завтрашнем дне. Царизм прогнивал в своей верхушке, выявляя свое бессилие в бесчисленных придворных интригах, распутинщине и т. п. Все лозунги, выброшенные царизмом и буржуазией в начале войны для разжигания шовинистических настроений, потеряли свое значение. Нищета, переполнение страны больными и ранеными действовали отрезвляюще на массы трудящихся. Все яснее и яснее становилось каждому рабочему и крестьянину, что война ничего хорошего не даст, что потери не удастся восстановить многие годы

после войны. Настроения против войны росли очень быстро. Неудачи на фронтах всемерно поддерживали рост антивоенных настроений. Буржуазия чувствовала, что царизм и поддерживавшаяся им система способствовали нарастанию революционных настроений. Она знала, что революция может смести не только царизм, но и буржуазию, и поэтому усиленно мобилизовала силы против царя, но за сохранение господства буржуазии. Буржуазия, значительно выросшая еще до войны и окрепшая за время войны, захватила важнейшие пункты общественной работы и подходила к захвату позиций в управляющем аппарате. Заполняя собою почти все места в Государственной Думе, буржуазия во всех удобных случаях становилась в позу „народных представителей" и отвоевывала себе у царизма те или иные уступки. Учитывая неизбежность революционного взрыва, буржуазия заблаговременно блокировалась с социал-соглашателями, чтобы, идя вместе против царя, вместе же не допустить революции. Милюков и К⁰ требовали больших прав в Думе, смены министров, не заслуживающих доверия Думы и т. п. уступочек, но, не получив удовлетворения, стремились произвести дворцовый переворот и заменить кровавого Николая II более приемлемым для буржуазии Михаилом. Все это они стали строить уже в феврале 1917 года, когда рабочие Ленинграда выступили на улицы, а крестьяне, одетые в солдатские шинели, отказались их расстреливать и пошли вместе с рабочими. Буржуазия в блоке с меньшевиками и эс-эрами употребила все силы на то, чтобы власть от царя перешла к ней, а не пошла в руки создавшимся с первых же дней февральского переворота Советам Рабочих и Солдатских депутатов. Работая при царе для „войны до победного конца", буржуазия и социал-соглашатели и без царя продолжали ту же политику. Они сразу же попытались истолковать февральскую революцию как движение против царя, который не мог обеспечить победы и который, мол, мог пойти на сепаратный мир с немцами. Так как Комитет Государственной Думы, к которому в первые дни перешла власть, а затем и созданное им временное правительство были прямыми представителями буржуазии, то создалось впечатление, что переворот буржуазии не угрожает, а, наоборот, укрепил ее положение. Такую оценку перевороту дали и послы „дружественных" капитали-

стических держав, поддерживавших буржуазию в ее борьбе с царем. Так они осветили февральскую революцию и перед своими правительствами, которые немедленно признали „революционное“ временное правительство России, рассчитывая, что оно не допустит углубления революции, сохранит и даже усилит боеспособность армии для „войны до победного конца“.

ОТ ФЕВРАЛЯ К ОКТЯБРЮ

Создание временного правительства, как и создание Советов Рабочих и Солдатских депутатов, проходило под знаком победы „революционной демократии“. Вся либеральная буржуазия превратилась в революционную демократию и развернула широчайшую работу за укрепление своих позиций. Власть царя была разрушена восставшими рабочими и солдатами, которые не были еще подготовлены к взятию власти в свои руки. Господство буржуазии сохранилось. На закрепление этого положения были направлены не только силы буржуазии, но и социал-соглашателей, выступавших от лица трудящихся масс. С первых же дней после переворота ставшими у власти господами буржуа и их глашатаями широко распространялась мысль, что революция совершена, а дальнейшие изменения жизни должны произойти потом, после окончания войны и созыва учредительного собрания. Были мобилизованы все „живые силы“, чтобы ввести массы в русло хорошей буржуазной революции. Торжество победы революции на некоторое время затушевало имевшиеся до переворота антивоенные настроения; с другой стороны, массы ожидали, что „революционная демократия“ начнет революционным путем разрешать все наболевшие вопросы. Но с течением времени торжественность прошла, никакие вопросы не разрешались, демократия в лице меньшевиков и эс-эров усыпляла внимание трудящихся масс разговорами, а буржуазия вела свою линию. Милюков от лица правительства заявил Антанте и всему миру о готовности „русского народа“ довести войну до победного конца. Из этого выступления более сознательная часть пролетариата увидела, что буржуазия сведет на нет достижения революции, что она в интересах империалистической войны сохранит все по-старому. Массовые протесты рабочих против заявления Милюкова

привели к тому, что его пришлось убрать из правительства. Эти выступления против политики войны впервые организованно выявили стремление трудящихся масс к миру. Буржуазия и социал-соглашатели этого стремления или не видели, или не хотели видеть. Они развернули широкую кампанию за войну, формировали ударные батальоны, мобилизовали на эту кампанию все силы партии меньшевиков и эс-эров. Керенский, боявшийся углубления революции так же, как и Милюков, взялся за подготовку наступления по всему фронту. Из этого ничего не вышло. Армия, принявшая переворот, как одно из средств для скорейшего окончания войны, целей которой она не понимала, не воодушевилась призывами Керенского и К° и в бой не пошла, несмотря на восстановление смертной казни и применение других репрессий. Ни буржуазия, ни меньшевики и эс-эры не могли обмануть армию прежними своими доводами о необходимости продолжения войны. Война была бесцельна, это легко доказывалось партией большевиков и легко воспринималось солдатской массой. Армия быстро уходила из-под влияния „революционной демократии" и шла под влияние партии большевиков, подготовляя свержение буржуазной, разбавленной социал-соглашателями, власти. Правда, другая часть армии — генералитет и офицерство — еще имели за собой незначительные воинские части, не осознавшие смысла всего происшедшего и, благодаря этому, оставшиеся верными командованию. Сорвавшись на вопросе о продолжении войны, буржуазия и социал-соглашатели повернулись лицом к вопросам внутренней жизни. Ведя борьбу с ростом революционных настроений и требований масс, они развили бешеную кампанию против партии большевиков, которая с самого начала выясняла перед рабочими, солдатами и крестьянами сущность февральского переворота и дальнейшие революционные задачи пролетариата и беднейшего крестьянства, чем повышала рост революционного сознания масс. Уже в апреле месяце, после приезда тов. Ленина и других товарищей из за-границы, появились в печати тезисы В. И., поставившие все основные вопросы революции перед трудящимися массами. В этих тезисах была дана революционная большевистская оценка важнейших моментов русской революции, и указаны практические шаги к углублению революции, превращению ее из

буржуазной в пролетарскую. В первом же пункте тезисов В. И. выпячивается вопрос о войне, подчеркивает, что и при новом правительстве она остается грабительской и не может поддерживаться пролетариатом. Этой войне тов. Лениным противоставляется „революционная война", на которую сознательный пролетариат может пойти после перехода власти в руки пролетариата и примыкающих к нему беднейших частей крестьянства, при отказе от всех аннексий и при полном разрыве со всеми интересами капитала. В. И. подчеркивает: „В виду несомненной добросовестности широких слоев массовых представителей революционного оборончества, признающих войну только по необходимости, а не ради завоеваний, ввиду их обмана буржуазией, надо особенно обстоятельно, настойчиво, терпеливо раз'яснять им их ошибку, раз'яснять неразрывную связь капитала с империалистической войной, доказывать, что кончить войну истинно демократически, не насильническим миром нельзя без свержения капитала". Как практическую меру, он рекомендует: „Организацию самой широкой пропаганды этого взгляда в действующей армии — братанье".

Тов. Ленин ставит вопрос ребром о неизбежности перехода ко второму этапу революции, который должен дать власть в руки пролетариата и беднейших слоев крестьянства. Капиталистическая природа временного правительства должна быть систематически раз'ясняема трудящимся массам, наряду с раз'яснением того, что „Советы Рабочих Депутатов — есть единственно возможная форма революционного правительства и к ним должна перейти власть".

За вопросами войны и власти в тезисах был поставлен вопрос о земле: „Конфискация всех помещичьих земель, национализация всех земель в стране, распоряжение землею местными Советами батрацких и крестьянских депутатов..."

Такая постановка основных вопросов революции была принята партией большевиков, которая в дальнейшем вела настойчивую политику углубления революции, опираясь на рост революционных настроений широких масс рабочих, беднейшего крестьянства и армии и организуя эти массы в единую революционную силу. Меньшевики и эс-эры, в лице Исполнительной Комиссии Совета Солдатских депутатов, уже в средине апреля признали эту политику партии

большевиков „не менее вредной, чем всякая контр-революционная пропаганда справа...“

С этой оценкой они подходили не только к политике партии большевиков, но и к каждому шагу рабочих, крестьян и солдат, направленному против поддержки буржуазии в ее стремлениях сводить роль Советов к совещательному органу, а силами правительства закреплять положение помещиков и капиталистов. Часть буржуазии испугалась освободившихся трудящихся и готова была вернуться к монархии, другая часть пыталась закрепить власть в своих руках и ввести освобожденный народ в определенные рамки буржуазного строя и на это направляла массу усилий. Руководители Советов того периода — меньшевики и эс-эры — закрывали глаза на растущую угрозу революции со стороны монархистов и буржуазии. Они затушевывали эту опасность перед трудящимися криками о демократии и свободах, которыми, мол, не следует злоупотреблять. Они очень легко переносили случаи издевательства временного правительства над Советами и их Исполкомами и очень горячо отзывались на каждое выступление большевиков в печати или на заседаниях Совета. Они допускали свободное использование свободы капиталистом и помещиком для обогащения на народной нищете и осуждали самое организованное отобрание у помещиков земли, попытки рабочих устанавливать рабочий контроль над производством и т. п. На каждом шагу своей жизни рабочие и крестьяне видели, что лишь своими силами они смогут завоевать себе права на переустройство жизни, что лишь напряжением всех пролетарских сил революции будет обеспечено дальнейшее развитие.

Крестьянству надоело ожидать, когда ему дадут земли сверху, и оно повсеместно начало забирать помещичью землю снизу. Агитация эс-эров, всегда говоривших от лица крестьянства при поддержке временного правительства, направленная против захвата земли до решения учредительного собрания, не имела никакого успеха. „Защитникам крестьянства“ — эс-эрам пришлось пойти на то, чтобы карательные отряды временного правительства расправлялись с захватчиками земли, возвращали ее помещикам и защищали помещиков. В стране, где „селянским“ министром был эс-эр Чернов, селянство угнеталось помещиком при помощи „своего“ селянского

министра. Выходило, что Чернов был больше „своим" помещикам, чем селянству. До самого октября велась эта борьба на селе, пока Октябрьская революция не положила ей предел и не передала землю крестьянству, отобрав ее у помещиков. В этой борьбе за землю крестьянство отходило от „своих" эс-эровских вождей, которые отошли от крестьянских масс, связавшись с буржуазией, подрядившись ей продолжать войну и сохранять старое положение до учредительного собрания. Такой же разрыв получился у социал-соглашателей и с рабочими. Хозяйственная разруха развивалась быстрым темпом, так как капиталисты не поступались своими прибылями, а рабочие впадали в нищету и вели упорную борьбу за улучшение своего положения. Министр труда, меньшевик Скобелев, в одном из заседаний Совета Рабочих и Солдатских Депутатов заявил, что нужно забрать у капиталистов все 100% получаемой ими прибыли для улучшения положения рабочих и на другие нужды демократической республики. Он, очевидно, забыл или не понимал, что этого не позволят сделать представители капиталистов в правительстве — 10 министров-капиталистов, которые составляли там большинство. Такие многообещающие фразы, как заявление об из'ятии 100% прибылей, не сопровождались никакими практическими действиями, для их осуществления. Наряду с этими фразами действия, были как раз обратные. Особенно наглядно это выявилось в борьбе против фабрично-заводских комитетов.

Борьба рабочих с капиталистами в производстве началась с первых дней февральского переворота, но она всемерно заглушалась руководителями соглашательских профсоюзов и депутатов Совета. Так как по линии профсоюзов и советов революционные устремления упирались в соглашательские верхушки, действовавшие в угоду капиталистам, то такое положение долго сохраняться не могло. Движение пошло по линии фабрично-заводских комитетов, несмотря на то, что они существовали, как беспартийные массовые рабочие организации. Борьба за сохранение предприятий и недопущение срыва работ фабрикантами и заводчиками, выдвинула фабзавкомы на одно из виднейших мест в революционной борьбе. Уже в мае 1-ая конференция фабзавкомов Петрограда поставила все вопросы, выдвинутые положением промышленности резко и по большевистски. Резолюции

принимались чрезвычайно единодушно, по предложению большевиков. В результате конференции был создан Совет фабрично-заводских комитетов с исполнительной комиссией во главе, состоявшей в подавляющем большинстве из рабочих-большевиков. В лице этого Совета пролетариат получил новую форму организации, которая должна была, в обход соглашательских профсоюзов и Советов Рабочих и Солдатских Депутатов, проводить борьбу и организовывать массы. Пример Петрограда оказался очень заразительным, и во всех промышленных центрах были организованы такие же Советы, сумевшие в дальнейшем врасти в хозяйственную жизнь и подготовиться к захвату власти в производстве в октябре. Вот с этими революционными ячейками рабочих временное правительство вело беспрерывную борьбу. Министр-социалист, меньшевик Скобелев, бросавший фразы о зажиме капиталистов и из'ятии у них 100% прибылей, страшно испугался народившихся фабзавкомов. Он, очевидно, полагал, что после его выступления капиталисты испугаются слов и принесут ему свои прибыли на тарелочке, а они стали их припрятывать покрепче в свои сундуки и т. д. Рабочие были сообразительнее Скобелева и начали строить фабзавкомы, чтобы установить контроль над производством и проследить, куда деваются доходы, как расходуются средства и т. п. Эти задачи они записали в устав фабзавкомов и их Совета. Но это не понравилось не только капиталистам, но и меньшевикам и эс-эрам в лице министров — социалистов. Скобелев издал свой устав для фабзавкомов, который не позволял им „ни стать, ни сесть", без разрешения начальства. Смелый в обещаниях Совету Рабочих и Солдатских Депутатов—Скобелев оказался очень нерешительным, когда дело дошло до практического осуществления этих обещаний. Но революционная воля пролетариата не позволила провести в жизнь закон Скобелева о зажиме фабзавкомов, так же, как воля буржуазии не позволила провести в жизнь его обещания об из'ятии прибылей. Оказалось, что „рабочий" министр Скобелев, как и „селянский" министр Чернов, ничего не делали для поддержки рабочих и крестьян в их борьбе, а, наоборот, боролись с их организациями. В борьбе сила рабочих и крестьян и их организаций стояла против силы буржуазии и ее организаций. Министры-социалисты всегда

и во всем были на стороне второй силы — буржуазии, поскольку они заключили с нею договор — и при составлении правительства и потом по всем важнейшим вопросам. Это все яснее и яснее становилось рабочим и крестьянам, так же, как армия уясняла себе действительную роль министров-социалистов и их партий в вопросах войны и мира. При таком положении вещей вопрос о власти, о необходимости перехода ее к Советам Рабочих, Крестьянских и Солдатских депутатов приобретал все большее и большее значение. Массы все больше и больше склонялись к правоте этого лозунга, а буржуазия и социал-соглашатели тем больше озлоблялись против большевиков, пугая обывателя анархией, позором перед союзниками и т. п. буржуазными пугалами. Дело доходило до того, что 1-й С'езд Советов запретил мирную демонстрацию, организованную партией большевиков, совместно с целым рядом других рабочих организаций, 10-го июня, под предлогом, что эту демонстрацию может использовать „скрывающаяся контр-революция" для попытки захватить власть. Руководители С'езда (на нем было подавляющее большинство меньшевиков и эс-эров) считали, что они опираются на большинство населения, но будто бы побоялись какой-то притаившейся контр-революции. В действительности, они побоялись встретиться с революционными требованиями рабочих масс об изгнании 10 министров-капиталистов из состава временного правительства. Эта боязнь пролетарских масс настолько овладела буржуазией и социал-соглашателями, что уже в июле они выпустили против мирной демонстрации казаков и провокационными выстрелами из-за угла пролили на улицах кровь. В июне рабочие выдвигали требование об изгнании министров-капиталистов, а в июле кадеты сами „решили" уйти из правительства, возлагая ответственность за хозяйственную разруху и поражение на фронте (не выгорело у них с наступлением) на Советы, т.-е. на их большинство, составлявшееся из меньшевиков и эс-эров. В этом „решении" было больше капиталистической дипломатии, чем действительного желания уйти от власти. Они требовали твердой власти, верили в свои силы и давили на социал-соглашателей, чтобы добиться еще больших уступок. Все это отлично понималось широкими массами, и они уже 2 — 3 июля порывались выйти на

улицы, чтобы поддержать Советы и заявить, что можно обойтись и без капиталистов в правительстве. После целого ряда попыток со стороны партии большевиков удержать массы от выступления, все же, во избежание стихийного развития движения, пришлось 4-го июля обратиться к массам с воззванием о необходимости сохранения движения в рамках мирной и организованной демонстрации. Провокационные выстрелы на Садовой улице сорвали организованность еще днем, а к вечеру уже появились казаки и отряды юнкеров, расстреливавшие демонстрантов, разгромившие редакцию газеты „Правда“ и целый ряд партийных и рабочих организаций. При попустительстве социал-соглашательского Центрального Исполнительного Комитета и министров-социалистов контр-революция делала свое черное дело. Она напала на демонстрацию, она учинила разгромы, и она, по существу, становится хозяином положения, хотя по форме власть передается в руки Керенского, и остаются существовать Советы. Политика правительства, возглавляемого Керенским, и политика Советов идет по дорожке, продиктованной контр-революцией. После расстрела демонстрантов, безнаказанно развивается самая злостная клеветническая агитация со страниц всех газет против большевиков. Большевиков сотнями арестовывают в Петрограде и тысячами в других городах и на фронте. Пускают слухи о подкупе большевиков немцами, закрывают большевистские газеты и т. д.

Поход против „опасности“ слева развернули во всю. Несмотря на всю вздорность слухов о подкупе и всю ненадежность источника этих слухов, меньшевики и эс-эры ничего не сделали для привлечения клеветников к ответственности и прекращения этой гнусной травли. Наоборот, они старались на очернении большевиков нажить себе политический капитал и, хоть частично, вернуть себе симпатии рабочих масс. Но рабочие судят не по словам, а по делам, и социал-соглашатели не завоевали симпатий пролетариата, а, наоборот, еще больше их потеряли. И на этом случае рабочие еще раз убедились в том, что социал-соглашатели уже превратились в социал-предателей. Контр-революционные круги руками Керенского загнали пролетарскую партию в подполье, посадили почти весь актив большевиков в тюрьмы, а сами усиленно готовили силы к дальнейшим боям.

К концу августа контр-революция настолько обнаглела, что с фронта на Петроград двинулся с дикой дивизией и др. воинскими частями генерал Корнилов. Это имело свои причины. Несмотря на разгром большевиков, временному правительству, даже с эс-эром Керенским во главе, не удавалось успокоить рабочие массы и революционные полки Петрограда. Правительство не раз пыталось эвакуировать из Петрограда часть заводов и отправить на фронт революционные полки, но это не удавалось. Рабочие и солдаты видели, к чему это клонится и всячески противодействовали. Керенский, по соглашению с Савинковым (бывшим тогда военным министром), решил вызвать „верные правительству" войска для поддержания „революционного" порядка в столице. Хотя об этой мере никому не говорилось, но буржуазная печать вела ожесточенную кампанию против рабочих и солдат, призывая фронтовиков против „засевших в тылу". Эта кампания настолько разожгла страсти, что приход фронтовиков неизбежно повел бы к открытой схватке в городе и к новому разгрому революционных рабочих и солдат Петрограда. Почти в последний момент (когда Корнилов с войсками подходил к Петрограду) Керенский изменил соглашению и стал организовывать отпор. Совет и рабочие организации увидели всю опасность контр-революции и мощной стеной стали на защиту революции. Характерно, что почти никто не думал и не говорил о защите „своего" правительства. Силы собирались и отправлялись в бой и в корниловские части для их разложения, движимые одним желанием — покончить с контр-революцией, а затем заняться и правительством. Под угрозой корниловской опасности меньшевики и эс-эры пришли к массам за поддержкой и не мешали вооружению рабочих. Совет фабрично-заводских комитетов и некоторые революционные профсоюзы использовали момент и дали в рабочие районы массу оружия.

Революционный под'ем беспартийных масс в период корниловщины снова показал, что пролетариат дорожит революционными завоеваниями и что он может их отстоять не в союзе с буржуазией, а против нее и ее приспешников. Как в период корниловщины, так и после него, в пролетарских массах авторитет большевиков поднялся чрезвычайно высоко. Предупреждения о растущей опасности справа,

делавшиеся большевиками с первых дней революции, наглядно подтвердились. Массе стали более понятны июльские события, и лозунг „вся власть Советам" снова стал пользоваться поддержкой широких масс. Он прочно засел в сознание наиболее активных рабочих и солдат, которые, после ликвидации корниловщины, стали вести усиленную работу по подготовке ликвидации самих предпосылок корниловщины, т. - е. по подготовке взятия власти в руки пролетариата и беднейшего крестьянства в лице Советов Рабочих, Крестьянских и Солдатских Депутатов.

Меньшевики и эс - эры и на корниловщине ничему не научились. Вместо подготовки к решительной схватке с буржуазией, они придумали „демократическое совещание". Они думали, что, созвав это совещание в сердце страны — Москве (уйдя от революционных рабочих и солдат Петрограда), они найдут общий язык с кадетами и монархистами и на чем - либо договорятся. Рабочие встретили это совещание забастовкой протеста, царские генералы говорили своим языком о „взбунтовавшихся рабах" и о необходимости твердой власти — сиречь военной диктатуры, а меньшевики и эс - эры плакались на скверное положение социалистов в правительстве и т. п. Ничего из этого совещания не вышло. Только меньшевики и эс - эры еще больше потеряли в глазах масс, которые еще раз увидели вожделения монархистов и капиталистов и беспомощность социал - соглашателей. В среде самих эс - эров и меньшевиков началось деление на левых, правых и центр; очевидно, кое - кто из них начал понемногу прозревать, а кое - кто окончательно скатываться на дорогу контр - революции. Состояние крестьянства, рабочих и солдат к концу сентября стало чрезвычайно напряженным. В Советы проходило большинство большевиков и им сочувствующих. Симпатии большинства трудящихся были на стороне большевиков как действительной революционной партии. Семь месяцев власти меньшевиков и эс - эров в союзе с буржуазией ничего не дали трудящимся массам. Хозяйственная катастрофа надвигалась, фронта почти не существовало, власти не чувствовалось. Было лишь метание из стороны в сторону в поисках опоры, но опоры не было: крестьянство восставало против помещиков, рабочие против капиталистов - заводчиков и фабрикантов, солдаты — против царских

генералов. Так долго продолжаться не могло: или буржуазия, собравшись с силами, пошла бы на захват власти и удушение революции, или пролетариат и беднейшее крестьянство, укрепивши свои советы, должны были пойти на захват ими власти. В целом ряде промышленных районов власть безболезненно переходила к советам, как только в них набиралось большинство большевиков и поддерживавших их беспартийных. Местные комиссары временного правительства стушевывались, и руководство всей жизнью переходило в Советы и их исполнительные комитеты. К концу октября временное правительство еще существовало, но уже ничего не могло делать, так как его опорой остались лишь юнкера, ударники и часть генералов. Власть правительства уже давно не распространялась на окраины. Финляндия и Украина жили самостоятельной жизнью, оторвавшись от России, благодаря продолжению Керенским царской политики угнетения национальных меньшинств. Демократизм „революционной демократии" — меньшевиков и эс-эров не только не дал национальным меньшинствам автономии, но даже запрещал с'езды; так Керенский запретил военный с'езд украинцев в Киеве.

Благодаря тому, что вся обстановка толкала на взятие власти Советами, партия большевиков пошла на это, и к моменту открытия II С'езда Советов все было готово. На первых же заседаниях С'езда были приняты основные решения о войне и мире, о земле, о власти. Меньшевики и эс-эры и тут остались верны себе и факт завоевания большевиками большинства в Советах и на С'езде Советов не хотели принять как факт и, разобидевшись, ушли со С'езда, чтобы поднять юнкеров против большинства Советов, т.-е. против большинства трудящихся. Если бы меньшевики и эс-эры признали свое бессилие и спокойно передали власть Советам, согласно явно выраженной воле большинства в них, то не было бы столько пролито крови, сколько пролилось ее в дни октября и после. Меньшевики и эс-эры виновны в том, что, оказавшись в меньшинстве, пошли против фактов, бессовестно нарушив свои принципы демократии, о которых так много говорили на протяжении всех 8 месяцев.

Связавшись теснейшим образом с буржуазией, они по горло увязли в болото, из которого не могли выбраться.

В октябре они стали по ту сторону баррикад. Еще до октября партии меньшевиков и эс-эров таяли, а в дни решительной схватки с юнкерами у них почти никого не осталось. Все лучшие рабочие и крестьяне ушли из рядов этих партий и остались с революционными массами, т. к. увидели, что только с ними, а не против них можно защищать революцию.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Период от февраля до октября чрезвычайно богат крупными и мелкими событиями. Во всех важнейших моментах этого периода ясно вырисовывалось неверие лидеров меньшевиков и эс-эров в силы пролетариата и крестьянства, в силы организованных масс. Они не поняли существа революции, а потому и не могли руководить движением. Они топтались на одном месте, не решаясь разрубать наболевшие вопросы. Они ухаживали за своей и международной буржуазией на деле, а на словах сулили пролетариату и крестьянству всякие неосуществимые блага. Находясь в союзе с капиталистами, идя с ними рука об руку во временном правительстве, социал-соглашатели обманывали народ, продавая интересы трудящихся наседавшей на них буржуазии. Русская революция не погибла при этих условиях лишь потому, что массы были на высоте своих революционных задач во всех затруднительных случаях, и, решая эти задачи, строили свою революционную партию — коммунистов-большевиков. В подготовке октября эта партия сыграла виднейшую роль. Она повела пролетариат и крестьянство в наступление, об'единив их революционные усилия, воспитав в них волю к борьбе и победе. На частичных боях, на поражениях и победах выковывалась эта воля. На опыте обанкротившихся партий меньшевиков и эс-эров пролетариат видел всю вредность соглашательской политики, политики коалиции с буржуазией. Уроки периода от февраля до октября не прошли даром, и Октябрь установил диктатуру пролетариата, чтобы его революционные завоевания никем не вырывались. Охотников же для посягательств на завоевания Октябрьской революции было очень много. Еще в то время, когда пролетариат и беднейшее крестьянство, под руководством партии большевиков, подготовляли Октябрь, меньшевики и эс-эры устанавливали связи

с представителями капиталистических держав, чтобы использовать эти связи против революционных рабочих и крестьян. Борис Савинков теперь рассказал, как они это делали. Мы все хорошо помним, какой злобой был встречен Октябрь со стороны капиталистических держав и их представителей, и как охотно они помогали всякому проходимцу, заносившему нож над головой Советских Республик. Победа пролетариата в Октябре была достигнута, сравнительно, небольшими потерями, но дальнейшая борьба на фронтах гражданской войны потребовала много сил и средств и нанесла большой ущерб благосостоянию трудящихся. Потребуется много лет, чтобы зажили эти раны, но мы знаем, что Русский Октябрь вывел революцию далеко за пределы бывшей России и, сделав ее пролетарской, толкнул пролетариат других стран на такой же шаг. За Русским Октябрем неизбежен Октябрь мировой. Подготовка его идет под испытанным руководством штаба мировой революции III Коммунистического Интернационала. Будут частичные поражения и победы, которые приведут к победе пролетариата в мировом масштабе.

В. Чубарь

Ленин — Октябрь

Партия, коммунисты, комсомол, революционно-пролетарская страна, мировые революционные отряды в своей подготовительной к боям и творческо-строительной работе еще долго будут чувствовать отсутствие творца Октября — Ленина, отсутствие его живого, прямого и одновременно гениально-простого руководства в повседневной сложной и тяжелой обстановке, что налагает на коммунистов особенно ответственную задачу довести дело Октября до завершения, при чем выполнять эту задачу по-ленински — во всей основной политической и фактической работе, не отступать от основ, заложенных Лениным в Октябре, ибо самое малейшее отступление толкнет на торную дорогу идеологических трясин, политических шатаний и тактической дряблости.

Почему так? Чтобы ответить на этот вопрос, надо в самых общих чертах рассмотреть этапы, как складывался дооктябрьский и октябрьский ленинизм... Почему Ленин привел к победе рабочих? Почему лозунг, выдвинутый и обоснованный теоретически Лениным о диктатуре пролетариата, получил твердое осуществление в октябре и дальнейшую проверку, прошедшую через 7 лет и вступающую в 8-ю годовщину? 8 лет для истории в отношении долгих сотен лет классовых битв, классово-пролетарских революционных боев, незначительный промежуток, но этого времени вполне и с избытком достаточно, чтобы утверждать, что путь Октября — это единственный путь, упирающийся в современный капитализм и ведущий к коммунизму.

8-ю годовщину мы встречаем под знаком ожесточенных усилий капитализма противостоять силам, получившим гигантский толчок от русского Октября.

Сейчас, как никогда, на арене экономических социальных и культурных отношений всего мира состязаются две силы — ленинизм, в его полном последовательном выражении, и — капитализм.

Если ленинизм, как учение о диктатуре пролетариата, как учение о восстании для торжества этой диктатуры в странах капитализма, приемлется безоговорочно революционными отрядами пролетариата, то капитализм ищет прикрытия за спиной социал-демократизма и оппортунистического социализма. II-й Интернационал — это уборная, где капитализм гримируется и заменяет на-время костюмы черных цветов на желтые. III Интернационал — это база революционной пролетарской артиллерии, снабжающая снарядами революционной энергии для Октябрьских мировых боев.

Ни шагу от Октября, ни буквы из лозунгов, смысл которых — восстанне для торжества пролетарской диктатуры. Так стоит и так только может стоять проблема перед коммунистами, комсомольцами и всеми рабочими массами капиталистических стран на 8-й год существования первого опыта пролетарской диктатуры. Кроме этого, 8-ая годовщина проходит и под знаком другого, не менее характерного для крепости ленинизма, явления. Таким является та идеологическая встряска, которую пережила Коммунистическая партия в первой половине 7-го года пролетарской революции.

Вопрос по сути дела шел о том, ленинизм ли, безоговорочный, последовательный и не допускающий разговоров о ревизии основных принципов пролетарской диктатуры и классовой рабочей сущности политики Коммунистической партии, должен и дальше определять политику и тактику Компартии, несмотря ни на напор внешней и внутренней буржуазной стихии, ни на усиливающийся рост внутренних экономических враждебных сил коммунизму, или надо пойти навстречу этим напорам на обстреленные ленинские стены партии и „мало-по-малу“ подменивать ленинизм другим политическим и идеологическим содержанием. В ответ на напор извне партия и Коминтерн сказали, что — ленинизм, т.-е. война гражданская пролетарская войне буржуазной.

Манифест Коминтерна к рабочим всех стран к 10-тилетию империалистической войны — это ленинская программа действий пролетариев всех стран, это ответ капитализму на его новые затеи, на его потуги удержаться.

Решения XIII-го С'езда Компартии и того же Конгресса Коминтерна по вопросу о бывшей оппозиции и идейной борьбе в коммунистических рядах русской партии является ответом ленинизма на происки ревизионизма,— это главнейшие уроки и важнейшие этапы, которые определяют собою целую эпоху. Именно теперь надо со всей отчетливостью понять всем коммунистически и классово-пролетарски мыслящим, что мы вступили в длительную полосу наиболее острого соперничества между капитализмом и ленинизмом и между ленинизмом и ревизионизмом, что также по сути дела есть отражение эпохи основной классовой борьбы. Точно так же, как капитализм взял на буксир социал-демократию для того, чтобы бросить ее, когда она будет использована, капитализм ищет путей, цепей, цепочек, через которые он получит сцепление с коммунистами.

Под углом зрения такой внутренней и внешней обстановки, особенно важно вспомнить, что ленинизм как в дооктябрьскую, так и послеоктябрьскую полосу вступил, как уже совершенно четкое научно разработанное и проверенное опытом учение.

Ленин — это Октябрь. Октябрь — это Ленин.

Тактика и идеология большевиков формировалась на учете повседневного опыта прошедшего через десятки лет русского рабочего движения.

Следующий вопрос выдвинулся большевиками уже на опыте первого всплеска революционной волны в России — 1905 год. Это вопрос о вооруженном восстании пролетариата и крестьянства для захвата власти.

Это основной вопрос, вбивший, по сути дела, клин между революционным крылом русского рабочего движения и оппортунистическим — социал-соглашательским.

Весь период после 5-го года до февральской революции, а затем и вся февральская революция до октябрьской, был эпохой неуклонного накапливания в пролетарских

массах, а затем и в крестьянстве, и в солдатской армии сознания, что борьба за расширение политических возможностей и за влияние пролетариата на политическую жизнь страны возможна только при условии максимальной сплоченности рабочего класса и готовности его, в случае нужды, путем вооруженного восстания отстоять свои политические претензии.

Лозунг пролетарской диктатуры не всплыл внезапно: он был в программе социал-демократов как максимум ее достижений, как максимум ее задач. И Ленин не один раз, и в дооктябрьский период и в послеоктябрьский, раз'яснял не только идейным противникам и врагам коммунизма, но и самим большевикам о том, что вся история революционного рабочего движения России, борьба с соглашательством, переплет феодально-буржуазных связей в российском политическом строе и даже отсталость русского пролетариата и невежество русского крестьянства могут определить исход тактики революционной партии в решающие моменты, и что поэтому тактика большевиков, как революционной партии, должна быть максимально способной к маневрированию, и в то же время принципиально выдержанной. Разница между революционным большевизмом-ленинизмом и русским и международным социал-демократизмом заключалась именно в том, что вся программа дооктябрьского периода классовой рабочей партии мыслилась как программа действия, и, в зависимости от изменения обстановки, можно и должно было выдвигать требования об осуществлении тех или иных пунктов этой программы.

Если социал-демократы в дооктябрьский и пооктябрьский периоды указывали на анархичность якобы большевиков, вытекавшую из того, что они заменили лозунг учредительного собрания лозунгом пролетарской диктатуры (а к этой мысли присоединялись многие „малые" и „большие" большевики), то Ленин на это отвечал следующим образом: „Переход от капитализма к строю социалистическому сопровождается долгой и упорной борьбой. Российская революция, свергнув царизм, должна была неизменно итти дальше, не ограничиваясь торжеством буржуазной революции, ибо война и созданные ею неслыханные бедствия изнуренных народов создали почву для вспышки социальной революции, и

поэтому нет ничего смехотворнее, когда говорят, что дальнейшее развитие революции, дальнейшее возмущение масс вызвано какой-либо отдельной партией, отдельной личностью, или, как они кричат, волей „диктатора". Пожар революции воспламенился, исключительно, благодаря невежеству и неимоверным страданиям России и всеми условиями, созданными войной, которая круто и решительно поставила вопрос перед трудовым народом: либо смелый отчаянный и бесстрашный шаг, либо погибай, умирай голодной смертью...

И революционный огонь проявился в том, что советы — эта опора трудовой революции — были созданы. Русский народ совершил гигантский скачок — прыжок от царизма к советам. Это неопровержимый и нигде еще небывалый факт. И в то время, когда буржуазные парламенты всех стран и государств, связанные рамками капитализма и собственности, никогда и нигде не оказывали никакой поддержки революционному движению, — советы, разжигая пожар революции, повелительно диктуют народу: „борись, бери в свои руки все и организуйся!"

Так отвечал Ленин на вопрос о своевременности выступления рабочего класса с пролетарской диктатурой, чем, по сути дела, являлись советы. Что касается отказа от учредительного собрания, то дальше т. Ленин указывает: „Буржуазное общество есть та же война, та же бойня, и это явление вызвало и обостряло конфликт между учредительным собранием и советами; и все, кто, указывая нам то, что мы, когда-то защищали учредительное собрание, теперь его „раз'ясняем" — у тех мысли нет ни зерна, а только пышные пустые фразы, ибо некогда, по сравнению с царизмом и республикой Керенского, учредительное собрание было для нас лучше их пресловутых органов власти. Но, по мере возникновения советов, последние, конечно, как всенародные революционные организации, стали несравненно выше всех парламентов всего мира, и это явление я подчеркивал еще в апреле месяце".

В апрельских тезисах, прочитанных Лениным вначале в качестве доклада на большевистской фракции Питерского совета, почти в тот же день, когда Ленин приехал из-за границы, он уже дал новую постановку вопроса о борьбе за власть.

Так Ленин определял этот момент: „Раз'яснение массам, что С. Р. Д. есть единственно возможная форма революционного правительства, и что поэтому нашей задачей, пока это правительство поддается влиянию буржуазии, может явиться лишь терпеливое, систематическое, настойчивое, приспособляющееся особенно к практическим потребностям масс, раз'яснение ошибок и тактики.

„Пока мы в меньшинстве, мы ведем работу критики и выяснения ошибок, проповедуя в то же время необходимость перехода всей государственной власти к советам рабочих депутатов, чтобы массы опытом избавились от своих ошибок.

„Непарламентарная Республика,— возвращение к ней от С. Р. Д. было бы шагом назад,— а Республика Советов Рабочих, Батрацких и Крестьянских Депутатов по всей стране, снизу доверху".

Основным критерием революционности рабочей партии также была способность суметь во-время видоизменить, сманеврировать свою тактику, выдвинуть на очередь,—вместо уже устаревшего лозунга,— лозунг новый, приемлемый для масс и революционный.

Вопрос об отношении к временному правительству во время революции большевиками рассматривался строго под углом зрения марксистской революционной стратегии, а именно: правительство, созданное в огне революции, будет оно буржуазным или коалиционным с социал-соглашателями, со стороны действительно революционной партии, не должно встретить полной безоговорочной поддержки, как это делали социал-демократы и другие соглашатели в первый период русской революции, а самую беспощадную критику, разоблачение ошибок, неспособности дать восставшим массам того, к чему они стремились. Такая линия определяла большевистскую революционную мысль задолго до революции.

Таким образом, дореволюционный ленинизм уже сложился, как революционно-марксистская тактика пролетарской партии, шаг за шагом отвоевывающей позиции для осуществления социализма.

Октябрь проведен строго в соответствии с этой ленинской стратегией.

Во всех выступлениях и статьях того периода Ленин неуклонно проводил мысль, что только тщательным учетом

обстановки, взвешиванием соотношения сил и своевременным выдвижением новых революционизирующих лозунгов должно подготовлять рабочих, крестьян и солдат к Октябрю.

Фактически апрельские тезисы были узловым пунктом всего стратегического плана Октябрьской революции. В своих последующих письмах Центральному Комитету Партии большевиков и в статьях, связанных с подготовкой восстания—Ленин давал и уже прямые инструкции, раз'ясняющие апрельские тезисы. Так, например, в письме Ц. К. и М. К. большевиков, по поводу взятия власти, написанном в начале декабря 1917 г., Ленин дает следующие указания: „Получив большинство в обоих столичных Советах Рабочих и Солдатских Депутатов, большевики могут и должны взять государственную власть в свои руки. Могут, ибо активное большинство революционных элементов народа обоих столиц достаточно, чтобы увлечь массы, победить сопротивление противника, разбить его, завоевать власть и удержать ее. Ибо, предлагая тотчас демократический мир, отдавая тотчас землю крестьянам, восстанавливая демократические учреждения и свободы, помятые и разбитые Керенским, большевики составят такое правительство, какого никто не свергнет."

„Большевистское правительство одно удовлетворит крестьянство. Почему должны власть взять именно теперь большевики?.. Потому что предстоящая отдача Питера сделала бы наши шансы в сто раз худшими. А отдаче Питера, при армии с Керенским и Комп. во главе, мы помешать не в силах. И учредительного собрания „ждать" нельзя, ибо той же отдачей Питера Керенский и Компания всегда могут сорвать его. Только наша партия, взяв власть, может обеспечить созыв учредительного собрания, и, взяв власть, она обвинит другие партии в оттяжке и докажет обвинение".

Дальше т. Ленин дает уже прямые инструкции о том, как подходить к вооруженному восстанию среди рабочих, солдатских масс в Питере и в Москве. Он предлагает: „Вспомнить, продумать слова Маркса о восстании: „Восстание — есть искусство", и заканчивает это письмо-инструкцию следующими, полными убежденности и твердости словами: „Взяв власть сразу и в Москве и в Питере (не важно, кто начнет,—может быть, даже Москва может начать) мы победим безусловно и несомненно".

В другом своем письме в П. К. и М. К., от начала октября, Ленин, указывая на накопление революционных сил внутри страны, на рост симпатий к большевикам среди солдат („99% голосов солдат за нас в Москве"), на отдельные революционные события в Москве, на выборы большевиков в Москве и на ряд других фактов этого периода, заключает, что: „при таких условиях „ждать" — преступление. Большевики не в праве ждать с'езда советов. Они должны взять власть тотчас же. Этим они спасают и всемирную революцию (ибо иначе грозит сделка империалистов всех стран, кои после расстрела в Германии будут покладистее друг к другу и против нас об'единятся) и русскую революцию (иначе волна настоящей анархии может стать сильнее, чем мы) и жизни сотни тысяч людей на войне. Медлить — преступление. Ждать с'езда советов — ребяческая игра в формальность, позорная игра в формальность, предательство революции. Если нельзя взять власть без восстания, надо итти на восстание тотчас".

Заканчивает Ленин это свое письмо, которое являлось нечем иным, как приказом по большевистской армии начать Октябрьскую революцию: „Победа обеспечена, и на девять десятых шансы, что бескровно. Ждать — преступление перед революцией".

Для Ленина вопрос о вооруженном восстании, о том, бескровно или через борьбу брать власть, был вопросом того, как сложится обстановка в процессе самой решающей борьбы. Для него важно было, что Октябрь уже созрел, и вопрос о восстании, о пролитии крови не может останавливать, ибо все условия говорили за то, что пролетарская революция восторжествует.

Этих важнейших этапов, характеризующих ленинизм в развитии пролетарской революции, достаточно для того, чтобы понять, что приспособляемость, маневрирование, точный учет и своих сил и сил своих врагов никогда не толкали ленинизм в беспринципность.

Из-за того, что может пролиться кровь и что нужно итти на восстание, Ленин не выбросил ни одного слова из принципиального понятия большевиков о необходимости захвата политической власти, как формы пролетарской диктатуры.

Вся послеоктябрьская полоса до наших дней есть проверка всем ходом событий этого основного, и так сказать,

основной стержень ленинизма. Коммунисты, маневрируя, приспособляясь, видоизменяли свою тактику, переходя от борьбы с капитализмом к заключению Брестского мира с немецкой буржуазией, от военного коммунизма к новой экономической политике, расширяя свою внешнюю связь с буржуазными правительствами, сотрудничая с ними в области экономических и хозяйственных интересов и до сих пор еще не отдали ни одной пяди своих принципиальных политических позиций.

В этом коренной смысл понимания Октябрьской революции и идейно-политического влияния на всю пролетарскую революцию ленинизма. Отступление от этого — гибель для партии, пришедшей к власти, как авангард рабочего класса, и выполняющей одну из основных исторических функций этого класса — движение через политическое господство, к социализму.

Времена меняются и будут меняться еще.

Перед коммунистами, комсомольцами и сознательными массами пролетариев впереди еще долгий ряд лет, которыми история будет отмечать мощность и крепость Октябрьских завоеваний.

Для сохранения этой крепости, однако, единственное условие, с которым мы вступаем в 8-ю годовщину — это не позволять помышлять ни внутри себя, ни вне, в направлении ревизионистского пересмотра, или ослабления ленинизма в большевизме — в тактике и политике коммунистической партии.

Только это — гарантия за то, что партия Ленина, руководившая октябрьским восстанием, останется принципиально-выдержанной, до конца коммунистической, классовой рабочей партией.

Д. Лебедь

Октябрь и искусство

Идеология отстает от экономики. Старая истина. Но больше всего отстает мир искусств.

Политическая революция — результат хозяйственного развития. Социальная революция требует большего развития, говоря языком К. Маркса,— материальных производительных сил. А революция в искусстве приходит еще позже, совершается еще медленнее, ибо путь этой революции сложнее, извилистее путей других революций. Здесь, кроме соответствующих внешних условий, требуется, если можно так выразиться, более высокая квалификация сил. Искусство есть цвет обще-культурного развития. Искусство, являясь одним из составных частей движущих сил развития человеческого общества, в то же время есть наиболее тонкий, наиболее совершенный и прекрасный продукт взаимодействия всех этих сил в целом.

Само собою разумеется, что в царской России, в царстве кнута и попа, не могли получить хотя бы минимального развития те культурные силы пролетариата, которые необходимы для проведения „Октября" и в искусстве. А так называемые окраины бывшей царской империи, в частности, Украина и культурные силы ее трудящихся масс, находились даже под двойным гнетом: социально-политическим и национальным. Поэтому нечего удивляться, что только теперь, через сравнительно много лет после бури социальной революции, в Советском Союзе все явственнее, все грознее слышатся громы, вспыхивают зори грозы художественной революции.

Художественный кризис постепенно назревал во всем мире одновременно с социально-политическим кризисом.

Как весь буржуазный строй со всем своим „базисом" (экономикой) и надстройкой (идеологией) уперся в трагический тупик безысходности, чувствует и видит гибель, так и искусство этого мира безпомощно бьется в предсмертном ужасе, как запоздалая бабочка мрачным осенним вечером.

Все же у нас, в великом Советском Союзе, кризис искусства еще глубже, чем там, на Западе. Там все-таки продолжается еще старая жизнь, хотя со смертельно отравленными источниками своего питания. Там еще может кое-как влачить свое хотя бы жалкое существование старая живопись, старая скульптура, музыка, театр. У нас — совершенно другой потребитель, совершенно другие требования пред'являются к искусству как со стороны формы, так и со стороны содержания. При этом нет еще достаточной формулировки этих требований, и так скоро ее не будет. В этом трудность нашего положения. Но — кипит работа; идут лихорадочные искания, эксперименты.

Наибольший успех можем указать в художественной литературе. Здесь уже есть силы. Здесь уже созданы ценности высокого художественного и идеологического значения. Но тут не станем перечислять ни имен, ни работ,— каждый знает их, а если не знает, так простое перечисление никому ничего не даст. Разве назовем только несколько украинских имен — это талантливая молодежь: М. Хвильовый, Тычина, Сосюра, Полищук и др. Конечно, гениев, совершенства и шедевров еще нет. Все же в потенции, в материале они уже есть.

Хуже обстоит дело с драматической литературой. Здесь еще нет не только Шекспира, но нет даже своего Островского. Конкурсы, об'явленные как в Москве, так и в Харькове и в других городах, ничего замечательного не дали. Все же прекрасные, сочные, обнадеживающие ростки имеются. Посев великой бури обещает быть урожайным. Иначе и быть не может: молодой, в урагане великих событий испытанный, внутренне неимоверно обогащенный и в восторге творчества новых миров трепещущий, пролетариат — слишком жизнеспособен, слишком разносторонне богат, чтобы не выдвигать талантов и на ниве драмы. Он захлебывается

от избытка творческих сил и материалов; их нужно только привести в порядок; их нужно только отшлифовать. Это — вопрос времени.

Не безразличны для революции и старые писатели, перековывающие свои мечи на советский серп и молот. Нельзя проходить и мимо так называемых попутчиков. Как гнилую ветошь, отбрасываем только разлагающихся „корифеев" эмигрантской литературы. Это — уже живые трупы дышащие только все более и более тускнеющими воспоминаниями о прошлом. Будущего уже нет у этих теней царства мрака. Пыль тления и забвения уже стелется над этими рыцарями банкирских сейфов и княжеских дворцов.

Театр ищет. Театр экспериментирует. И уже довольно давно. Успел изрядно нашуметь. Увы — положительные результаты непропорциональны шуму. Слишком легко сегодня мы открываем величайшие, постояннейшие, р - революционнейшие истины, чтобы завтра отбросить их, как досадное заблуждение. Здесь мы говорим об экспериментах так называемых левых („лефов") как в РСФСР, так и на Украине. Эти опыты и искания весьма оригинальны, даже талантливы и, несомненно, ценны. Они совершенно необходимы, хотя бы для свержения древних, плесенью и гнилью прошлого пахнущих театральных богов. Есть в них свои определенные достижения (полное овладение артистом своим телом и всей своей личностью, целесообразное использование трехмерной декорации или „конструкции"). Но детской наивностью, полной научной безграмотностью пахнет от увлечений какой-нибудь малюсенькой „теорией", построенной целиком на идеалистическом, ненаучном понимании законов человеческой психики и развития общества. Например, этот пресловутый кран, который бессменно торчит на сцене — совершенно независимо от того, что на ней происходит. Или эти нелепые остроугольные, глаз режущие, клетки на сцене, грязные балки и стены, исключительно мрачные, черные краски. Или: абсолютное отрицание грима и костюма, с одной стороны, а с другой — целые базары тряпья и зеленые, красные бороды до земли. Все это — плод скудного общественно - научного и естественно - научного теоретического образования. К сожалению, даже самые талантливые работники мира искусства у нас страдают этим недостатком.

Чрезвычайно трудно усваивается мысль — и, к сожалению, не одними только всерабисниками, — что строительство нового театра и искусства, вообще, есть строительство идеологического порядка, по преимуществу. А можно ли быть строителем, сознательным творцом классовой пролетарской идеологии без глубокого, строго научного понимания этой идеологии? — Конечно, нет! Да, недостаточно иметь сознательным одного только руководителя: один в поле не воин. Все работники театра, как и других видов искусства, тем более выходцы из непролетарской среды, должны стать научно-грамотными, т.-е. достаточно серьезно усвоить материалистическое мировоззрение. Только при соблюдении этих условий возможно будет говорить о сознательном строительстве в самой сложной области человеческого бытия — в области искусства, в области создания новых, небывалых еще, только что нарождающихся интеллектуальных и эмоциональных ценностей. Трудность, сложность вопроса здесь заключается еще в том, что произведение искусства не есть только простое художественное изложение конкретных политико-хозяйственных задач сегодняшнего дня. Искусство в целом, в том числе и театр, ставит и доступными ему средствами разрешает всю сумму вопросов идеологии и практических задач класса восходящего, класса борющегося и побеждающего, класса перерождающегося, в классовости динамической идеологии которого в то же время заложены семена идеологии обще-человеческой, всемирно-коммунистической, братской. Ничего подобного мир никогда не знал, не видел...

Если наше современное искусство еще не ставит всех этих сложнейших и величайших вопросов, то только потому, что оно еще слишком молодо, а не потому, что оно не должно и не хочет: оно еще только учится „ходить". Но с каждым днем оно приближается к возмужалости. Уже теперь в перспективе оно видит задачи искусства, подавляющие своей огромностью и сложностью. Не только древние греки и римляне, даже древние египтяне в своем искусстве — в колоссальных пирамидах, в гипнотизирующих гигантских сфинксах, в величественных храмах — ставили и проблемы политические и религиозно-философские. А Данте в своей

„Божественной комедии", великие мастера Возрождения в своих шедеврах живописи и архитектуры, Шекспир в своих бесчисленных трагедиях,— разве эти блестящие мастера не ставили всю сумму вопросов идеологии и культуры своей эпохи и своих классов? А олимпийский Гете и патриархальный Толстой разве не были проповедниками целых мировоззрений? Конечно, да! Конечно, и наше искусство не может не ставить этих проблем. Но идеология и практическое строительство эпохи великих социальных катастроф и сдвигов неизмеримо сложнее всех эпох прошлого; темп и размах колебаний ее маятника неизмеримо быстрей и шире. Здесь разобраться неизмеримо труднее. Но художник должен разобраться, по меньшей мере, должен ставить эти вопросы, иначе он не художник, а скучный, жалкий крохобор.

Мы можем гордиться: наш революционный театр ставит большие вопросы, в первую очередь — свои, театральные, разрешение которых, в значительной степени, является необходимым условием для постановки более широких социальных психологических и др. проблем. Революционный театр поставил ребром вопрос о двухмерных и трехмерных декорациях, о выходе театра на вольный воздух, о массовизации театра, об охватывании десятков и сотен тысяч людей и уничтожении деления на актера и зрителя [1]) . . .

На Украине революция театра еще глубже. Здесь нужно было прежде всего повести борьбу против так называемого малороссийского театра (смесь сантиментального и кабацкого национализма, мещанства, антисемитизма и издевательской вульгаризации украинства) за приличный буржуазный театр. Эту борьбу первый открыл театр имени Шевченко. После него народились другие, родственные шевченковцам, труппы (им. Франко, и русская — „Красный факел"). Несколько позже появились первые ростки идей Мейерхольда на украинской

[1]) К сожалению, этого нельзя сказать про так наз. Академические театры Р.С.Ф.С.Р.: здесь еще дореволюционный репертуар и почти полное отсутствие серьезных исканий в области формы. Счастливое исключение — „Лизистрата" в Моск. Худ. театре; это несомненное приобретение. О московск. госуд. камерном театре и его исканиях тоже нельзя говорить, как о революционном театре: его идеология и эстетствующая эстетика целиком умещаются в рамках буржуазного мира. Не даром им восторгались эмигранты Берлина и Парижа. Но все же это театр движения, а не застоя, что крайне ценно.

ниве: театр-мастерская имени Михайличенко во главе с М. Терещенко и театр „Березиль“ во главе с А. Курбасом. Нельзя сказать, что эти театры являются полной копией с Мейерхольдовского театра,— нет: взяты только две основные мысли: отрицание двухмерной декорации и полное овладение артистом всей своей личностью. Дальше уже начинаются самостоятельные искания талантливых украинских режиссеров. Некоторые их постановки чрезвычайно интересны...

Еще несколько позже, в 1923 г., театр Всеукраинского Пролеткульта в Харькове дает интересную постановку „Газа“, но после этой постановки происходит некоторая задержка. И только в 1924 году ТЕО Пролеткульта дает „Слышишь, Москва?“ и другие более мелкие вещи.

Нельзя пройти мимо чрезвычайно крупного факта: осенью 1923 г. в Харькове был открыт первый столичный украинский государственный театр. В основу была взята труппа им. Франко во главе с Г. Юра. Теперь этот театр занимает лучшее центральное театральное помещение. Государство и украинская общественность уделяют ему максимум внимания.

Само собою разумеется, что в союзных республиках происходит процесс создания серьезных национальных театров. (Конечно, слово „национальные“ нами толкуется в классовом понимании). Явление совершенно естественное и понятное. Сомнений в правильности этого пути быть не может — через классово-национальную культуру к интернационально-человеческой культуре.

Наиболее глубокий кризис переживают изобразительные искусства. Пережито и забыто много направлений и школ. Проделана масса экспериментов. Стушевался супрематизм. Исчез, футуризм. Перерождается, забывается конструктивизм. А результаты только отрицательно-положительные: с искусства сорвана маска общечеловечности, выявлена полная несостоятельность старого искусства, лишенного жизненного элексира, т.-е. конкретных жизненных целей и форм. Выявлено категорическое требование: сблизить искусство с производством и сделать искусство органической составной частью процесса производства и всего быта — в его общественных и индивидуальных формах. Резко поставлен вопрос о методах изучения изобразительных

искусств,— ведь, нельзя же удовлетвориться старыми, кустарными методами средневековья. Пора перейти к научным методам, соответствующим современному развитию науки и техники. Со всей резкостью поставлен вопрос о формах нового искусства... К сожалению, пока вопросы остаются без достаточно определенного, конкретного ответа. Есть только общая формула: через новое содержание к новой форме. Много молодых талантов. Все же нет еще ни одного художника, который полностью сумел бы эту формулу претворить в жизнь. До сих пор дано только некоторое приближение к разрешению этой задачи. Поэтому мы откровенно должны сознаться: революция еще ищет своего стиля в изобразительных искусствах.

Музыка тоже находится в полосе кризиса. Если в области литературы масса работ новых, хотя бы только по содержанию, то революционных музыкальных произведений имеется только несколько десятков; да и то все небольшие вещи. Больших же революционных музыкальных произведений вовсе нет еще. Еще хуже дело с оперой: нет еще ни одной новой революционной оперы. Во-вторых, архитектоника оперной музыки совершенно отстала от требований психологии современной эпохи машинного производства. Своей структурой оперная музыка соответствует малоподвижной, консервативной, сонной психологии домашинной эпохи. Теперь же, в эпоху электричества, аэронавтики, радио — в порядок дня выдвигается вопрос о коренной реорганизации не только архитектоники оперной музыки, но — и литературы, театра, изобразительных искусств. Наша эпоха — эпоха быстроты. Неизбежно и искусство быстроты. (Здесь прав отец футуризма — Маринетти). В области музыки в этом отношении кое-что можно ждать и от Государственного Института Музыкальных Наук в Москве. От него можно ждать и продвижения вопроса о коренных реформах в области техники музыкальных инструментов. Эта техника в некоторых своих частях на сотни лет отстала от современной индустриальной и научной техники. Поэтому и сила звуков, получаемых на этих инструментах, ничтожна, по сравнению с силою звуков современного гигантского города и гигантских заводов. Это одна из величайших проблем в мире искусства, особенно остро выдвинутая нашей

революцией. Нарождающейся художественной науке предстоит трудная, но весьма благодарная задача.

Кинематография тоже не обойдена кризисом. Здесь только еще назревает „Октябрь". Правильнее: здесь происходит не революция, а эволюция, т. - е. постепенное внедрение новой революционной фильмы в кинематографический репертуар и постепенное вытеснение старого, идеологически насквозь прогнившего репертуара. К сожалению, этот процесс происходит слишком медленно. Революционных фильм пока в СССР имеется около сотни, а для обслуживания всей огромной территории Советского Союза требуется тысячи три фильм.

Медленность советизации кино - фильм об'ясняется многими причинами: дороговизною изготовления фильм — от 15 до 25 тысяч руб. каждая, дальше — отсутствием вполне соответствующих эпохе советских режиссеров и артистов. Этим об'ясняются и серьезные идеологические недостатки почти в каждой советской фильме, недостаточная организационная и деловая налаженность всего кино - дела и т. д. Но, кроме того, не надо забывать, что унаследованные нами тысячи старых кино - фильм в России создавались не в один - два года, а в долгие годы. Во - вторых, большая часть кино - фильм, т. - е. несколько тысяч, привезены из - заграницы. Таким образом, помещичье - буржуазная Россия пользовалась кино - производством всего земного шара. А кино Союза Советских Республик, конечно, не может пользоваться заграничными фильмами, дышащими буржуазной идеологией. Исключение составляют только естественно - научные фильмы, а другие фильмы — крайне редко.

Во весь рост встал и вопрос о технике игры киноартистов, о монтаже постановки и с'емки. Как в драматическом театре свои последние дни отживает, по крайней мере глубокий кризис переживает, психологизм, несоответствующий исключительно подвижной, динамичной психологии зрителя века гигантских фабрик, беспроволочного телеграфа, аэроплана, так и в кино - театре. При этом в кино - театре этот кризис ощущается глубже, больнее, так как здесь действуют только зрительные факторы, а в драм. театре и зрительные и слуховые. Следовательно, для достижения максимального эффекта у зрителя односторонние (зрительные)

факторы воздействия кино-театра должны обладать максимумом напряжения, т.-е. движения. Движение — враг т. наз. психологизма... Конечно, этим мы вовсе не хотим сказать, что совершенно изгоняется психология и так называемые переживания,— отнюдь нет. Мы только говорим: техника современного кино-театра (как и драмтеатра) должна забыть технику эпохи „Сверчка на печи" и приспособиться к технике эпохи „симфонии фабричных гудков". Задача исключительно сложная и трудная. В один, два года не разрешить. Но задача поставлена,— надо приступить к ее разрешению. Путей к этому несколько (переобучение действующих кино-трупп, реорганизация кино-школ и т. д.), но здесь не место говорить об этом вопросе.

Кино играет колоссальную роль в странах с почти поголовно грамотным населением, с нормально развитой промышленностью, с высокой сельско-хозяйственной культурой и техникой. В Советском Союзе, в стране великих завоеваний и великих преобразований, но, к сожалению, с малограмотным 140-миллионным населением, с примитивной сельско-хозяйственной техникой,— здесь кино призвано творить „чудеса".

Дорогу кинематографу,— этому духовному трактору на ниве деревенской темноты!..

Наконец, один из самых древних видов искусства, танец тоже переживает глубокий кризис. Только в стране, где у власти люди труда, люди жизни, люди движения, люди здоровья, энергии и борьбы, а не трутни, а не физические и духовные выродки,— только здесь со всей резкостью мог встать вопрос: а каков же в самом деле танец пролетариата, класса восходящего, новые миры несущего? — Конкретный ответ жизнью еще не дан; можем дать только общее определение: танец пролетариата в своей основе будет танцем сильной и жизнерадостной красоты.

Еще одну проблему выдвинула великая пролетарская революция: создание материалистической эстетики. До сих пор нет строго научной, т.-е. материалистически-монистической теории искусства, а есть идеалистические теории. У нас есть только материалистическая философия и дуалистические искусства, а эстетики — нет. Нет основного фундамента. Многие товарищи склонны думать, что это вопрос

чисто теоретического, а не практического значения. Это — вредное заблуждение. Без материалистической теории искусства невозможна целесообразная и сознательная практика в художественном строительстве. Трагическое блуждание, хождение ощупью революционного театра, изобразительных и других искусств как раз является результатом отсутствия твердого научного теоретического фундамента. Легко представить себе, что было бы с нашей революционной стратегией, если бы мы не имели строгой, долгими десятилетиями выковывавшейся, шлифовавшейся теории научного социализма. Каким беспомощным фантазером, в таком случае, оказался бы наш покойный великий стратег, наш научный ясновидец!..

Современное состояние естественных наук, в том числе и в нашем Советском Союзе (реактологии, рефлексологии), позволяет нам ставить вопрос о создании материалистической теории искусства. Невозможного или преждевременного ничего здесь нет. Ведь, поставлен же вопрос о создании научной, т. - е. материалистической психологии... Без хотя бы намечения основных вех научной теории искусств немыслима вполне сознательная постановка вопросов практического художественного строительства, художественного образования в том числе.

Революция свергла старых богов искусства. Определенно и резко она поставила коренные вопросы художественной практики и теории. Она их разрешит. В том порукою могучий исторический исполин — пролетариат.

Р. Пельше

Памятник тов. Артему в гор. Артемовске (Донбасс) по проекту И. П. Кавалеридзе

ВОСПОМИНАНИЯ

Водоворот

(Обрывки воспоминаний)

В декабре 1917 г. советской частью 1-го с'езда Советов Украины (подчеркиваю: советской частью, так как, в большинстве, с'езд оказался в руках Центральной Рады) было намечено создание Советского Правительства Украины.

Формально это произошло в Харькове, где выехавшие из Киева делегаты с'езда об'единились с областным с'ездом Донецкого района. Тогда и был создан советский Украинский Центр под именем Народного Секретариата Украины.

Первым делом мы поставили вопрос о Брестском мире, так как в Бресте, наряду с российской советской делегацией, находилась делегация Центральной Рады. Не приходится удивляться, что присутствие „радовской" делегации создавало полную неразбериху: то советские делегаты с радовскими действуют согласованно, как одна сторона, против немцев, то Рада ведет линию независимую. Чаще всего выходило так, что тов. Троцкому приходилось признавать радовскую делегацию полномочным представительством Украины. Поэтому вопрос о посылке представителей Советской Украины имел огромную важность.

Ленин согласился с нашей мыслью. Мы получили об этом телеграфное извещение и стали намечать, кого послать.

Решено было, во-первых, отправить в Брест Медведева.

Для работы отрядили тов. Шахрая и меня.

В тот же день мы поехали.

Прибыли в Питер как раз 1-го января 1918 года по старому стилю.

В этот день я впервые увидел Ленина. Он принимал у себя в кабинете в Смольном, на третьем этаже. Приемная, где ожидали посетители, одновременно была канцелярией Совнаркома. Аппарат там был налажен немногим лучше, чем у нас в Харькове. Все делалось более, чем просто.

Без долгих церемоний мы зашли к Ильичу. Он очень интересовался украинскими делами и просил нас рассказать подробнее о событиях в Киеве, о том, что представляет из себя Центральная Рада, как мы организовались, что мы думаем делать дальше. Затем стал толковать о том, как вести себя в Бресте.

Медведев, любивший поговорить, все время вмешивался в наш разговор с Лениным. Как коренному киевлянину и основному члену делегации, с Лениным пришлось говорить, главным образом, мне. Остановить Медведева не было возможности, он распоясался и стал, что называется, „заливать", переходя при этом на украинский язык.

Мне пришлось его дергать за полу пиджака под столом...

Ильич заметил мой маневр и пишет мне коротенькую записку: „Дайте, дайте! Пусть поговорит, он занятно врет. Только потом зайдете сами, мы еще потолкуем подробнее".

После этого я больше Медведеву не мешал.

Не знаю, как Ильич им, но он Ильичем остался весьма доволен: „Настоящий", говорит, „человек, никто меня так внимательно не слушал, а вы еще мне мешали".

Владимир Ильич предложил нам обождать в Смольном до завтра, чтобы он мог обдумать положение и дать нам свои указания.

Выйдя из кабинета, мы попросили кого-то, сидевшего в приемной, указать нам место для ночевки.

Нас отвели в институтский дортуар. Температура была там — минус 8 градусов.

Я оставил своих товарищей устраиваться, а сам вернулся к Ильичу, и мы с ним потолковали еще с полчаса. Он сказал, что мы поступили правильно, решившись на создание Всеукраинского Центра и одобрил наш план об'явления Раде решительных военных действий. Затем он дал распоряжение тов. Антонову-Овсеенко, посланному в Харьков для организации борьбы с Калединым, поддержать нас против Центральной Рады.

Что касается поездки в Брест, то Ильич предложил мне туда не ехать: „Достаточно будет и двух. Все равно Троцкий будет за всех говорить. Вам не стоит там сидеть, лучше оставайтесь здесь у нас, а то мы понятия не имеем, что на Украине делается, и наверное часто делаем глупости".

На этом и порешили. Отправил я своих товарищей в Брест, а сам остался в Смольном. Харьков согласился на эту комбинацию и предложил оформить мое положение в качестве оффициального представителя Украины при Совнаркоме РСФСР.

Насколько помнится, особенно настаивал на юридическом оформлении тов. Скрыпник, приехавший к тому времени в Харьков.

Между прочим, Ильич и, особенно, Сталин, как известно, ведавший всякими национальными делами, получали информацию об Украине не только от нас, но и от с.-р'ов.

Уже после нашего от'езда из Киева туда был командирован левый с.-р. Прошьян — Наркомпочтель. Этот Прошьян, оказывается, был в Центральной Раде, виделся с украинскими с.-р'ами и вернулся в Питер в полном восторге от них.

Он информировал Совнарком, что Центральная Рада не такое уже плохое учреждение, а, главное, что овладеть ею можно изнутри, опираясь на усилившееся тогда левое крыло партии украинских с.-р'ов. В Киевский Совет рабочих депутатов, где председателем был тов. Андрей Иванов, Прошьян не потрудился зайти. Совнарком РСФСР до поры до времени не хотел связывать себя тем или иным решением в отношении к Украине и не порывал формально с Центральной Радой.

Я стал требовать оффициального признания. После недельной, примерно, оттяжки, после нескольких крупных разговоров со Сталиным, было решено, что Совнарком РСФСР признает законным советским правительством нас, а меня вводит в Совнарком РСФСР в качестве народного секретаря по украинским делам, с правом решающего голоса по всем делам, касающимся Украины (в такой примитивной форме установлена была формально связь между РСФСР и советской Украиной).

Но надо сказать, что ставка на возможность другой комбинации с Украиной не была отвергнута окончательно.

Дело в том, что в Центральной Раде, действительно, назревала левая оппозиция, — это было подлинное выражение глухого недовольства широких мужицких масс Украины нерешительной политикой Рады в земельном вопросе.

Рада бесконечно тянула с земельным законом и всячески задерживала передачу земли крестьянам.

На этом строили свои надежды мы, и на этом же процессе вызвано появление в украинских с.-р'ах довольно сильного левого крыла, во главе с товарищами Михайличенко, Шумским и др.

Все делалось тогда очень быстро. Еще во время срыва Радой всеукраинского с'езда советов, левые среди украинских с.-р'ов ничем себя не проявляли, но уже к концу декабря расслоение в с.-р'ской партии пошло так далеко, что одни других стали арестовывать (арестовывали правые левых). ЦК большевиков не прочь был поддержать этот процесс расслоения, при чем работа велась через левых с.-р'ов (российских).

С Михайличенко я познакомился в Петрограде, на квартире у украинского с.-р'а Северо-Одоевского. Попал я туда совершенно случайно: кому-то из товарищей нужен был Северо-Одоевский, мы зашли вместе и наткнулись на небольшое совещание российских левых с.-р'ов с украинскими, приехавшими в Петроград в качестве членов Учредилки.

Михайличенко тогда горой стоял за Учредилку, в нем ясно чувствовался еще провинциал.

Столичные левые с.-р'ы, по крайней мере, бывший там Карелин, склонялись уже к большевистской точке зрения и считали возможным, в крайнем случае, и роспуск Учредительного Собрания.

Между прочим, Михайличенко расписывал перед российскими левыми с.-р'ами прелести Украины и Центральной Рады, говоря, что она, собственно, представляет советскую форму правления. Надо только усилить в ней влияние левых элементов.

Михайличенко неодобрительно высказывался по поводу нашей „большевистской авантюры" — об'явить советскую Украину в Харькове.

Михайличенко с Карелиным скоро ушли куда-то, мы с Северо-Одоевским продолжали разговор.

Между прочим, видно было, что мы помешали.

Видимо, Одоевский с Карелиным и Михайличенко имели какое-то конфиденциальное совещание.

Одоевский был возбужден (мне даже казалось, не подвыпивши ли он) и разоткровенничался.

„Теперь", говорит: „дело в шляпе: мы скоро будем иметь советское правительство в Киеве, и Украина станет опорой левых с.-р'ов"!

„Что, вы думаете, мы позволим над собой так измываться, как это большевики здесь делают. Мы, укрепившись на Украине, и здесь вам покажем".

Понятно, меня эта история весьма заинтересовала, и я постарался расспросить у разоткровенничавшегося Одоевского возможно больше. Я прикинулся, что отношусь к его проекту сочувственно и сказал: „Если бы в Киеве, действительно, удалось хотя бы левым с.-р'ам свалить Центральную Раду и образовать советское правительство, то может быть и мы, харьковцы, к ним присоединились".

Тут Одоевский посвятил меня в некоторые подробности. По его словам, с благословения Ленина (последнего обстоятельства я не мог проверить, так как Ильич никогда не говорил того, чего не хотел сказать), намечается организация переворота в Центральной Раде, совместно с украинскими с.-р'ами левого толка и левыми российскими с.-р'ами.

Председателем Совнаркома Украины будто бы выдвигается сам Северо-Одоевский.

На днях они выезжают в Киев (это было накануне роспуска Учредилки).

Там в Киеве будто бы все подготовлено. Одоевский не сомневался в успехе, и одно его беспокоило — это отношение Харькова, который мог помешать установлению нормальных взаимоотношений с РСФСР.

Я потребовал у Сталина сказать мне, какую, собственно, политику ведет Совнарком РСФСР и на что делает ставку.

Сталин от прямого ответа уклонился.

Само собой разумеется, немедленно мною было сообщено обо всем в Харьков, при чем, грешным делом, я даже не старался быть особенно конспиративным. Мое сообщение пошло по „Юзу" в Харьков и, весьма возможно (есть некоторые подозрения), попало и в Киев. После я узнал, что,

действительно, в Киеве была кутерьма, но только неудачно кончившаяся для левых. Руководящая группа Центральной Рады, проведав о заговоре левых, их всех арестовала. Чистейшая случайность, что они не были расстреляны. Смертный приговор уже был подписан Грушевским, и только занятие советскими войсками Киева спасло им жизнь (им удался в этой суматохе побег).

По представительству Украины работы большой, понятно, не было, за исключением ежедневных переговоров с Харьковом по проводу. Речь шла чаще всего об эшелонах продовольствия, при чем интересовались буквально каждым вагоном.

Я отлично помню, как Ильич волновался сам и рассылал во все стороны и людей и телеграммы — разыскивать пять вагонов хлеба, шедших для Петрограда и где-то затерявшихся в пути.

От пяти вагонов хлеба зависела судьба советской власти.

Большую часть дня я проводил в кабинете Ильича, выполняя фактически обязанности его секретаря.

Он поручил мне разобрать кое-какие дела, ознакомиться с некоторыми вопросами, чтобы затем рассказать ему в сжатом виде.

Тут же в кабинете сидел я, когда он принимал всяких посетителей, а надо сказать, что посетителей было огромное количество, и доступ к Ильичу был фактически беспрепятственный.

Особенно запомнился мне один случай. Пришел какой-то посетитель-студент странного вида; говорил, запинаясь, что-то несуразное, видимо, волновался; глаза бегали во все стороны. Я шепнул матросу Балтфлота (забыл его фамилию, он был вроде как бы ординарцем у Ильича, выполняя разные мелкие поручения, он же следил и за телефоном).

Этот матрос сидел обычно в том же кабинете за перегородкой. Шепнул я ему: „гляди, товарищ, студент-то подозрительный!“ Он выглянул из-за перегородки, согласился со мной. Мы решили быть поближе.

Видно было, что Ильич неохотно продолжает разговор, явно для него неинтересный.

Студент излагал какой-то проект насчет введения социализма.

Я подошел и стал за спиной студента, матрос стал рядом с Ильичем.

Студент заметался и стал прощаться, матрос вышел за ним и в корридоре его задержал; у него в кармане оказался заряженный „наган".

Но самое интересное то, что студента отпустили, не поинтересовались, кто он и зачем, собственно, приходил. Только „наган" остался у матроса.

Кажется, никто, кроме Ильича да нас с матросом, об этой истории не знал. Настолько просты были нравы.

Чека не было и в помине, а, ведь, это был уже январь 1918 года, после роспуска Учредилки.

Первые попытки разобраться в некоторых контр-революционных заговорах были сделаны тогда же, в январе, в виде создания следственных комиссий.

Обычно комиссиями руководил Управделами Совнаркома — тов. Бонч-Бруевич, приглашая в комиссию первых попавшихся под руку товарищей. Два-три раза таскал он и меня.

Сюда же, в Смольный, приводили арестованных, допрашивали их. У меня не было вкуса к этим занятиям, я норовил сбежать из комиссии в кабинет Ильича, где было много интереснее.

Первым украинским делом, каким мне пришлось заняться в Питере, был спор между Харьковским комитетом большевиков, во главе с Артемом, и Антоновым-Овсеенко.

Этот последний находился тогда в Харькове с небольшим отрядом матросов Балтфлота и организовывал из Харькова борьбу с Калединым на Дону.

Как часто случалось в то время, единства действий не было.

Всяк был сам по себе.

Власть на местах, в данном случае Харьковский Совет, весьма косо смотрел на неподчиненного ему Антонова.

Антонов тоже не очень-то считался с Харьковским Советом, тем более, что Харьковский Совет, как я уже выше сообщал, был весьма своеобразен.

В Харькове переворот совершился просто: узнали о происшедшей в Питере и Москве революции и об'явили себя властью.

Но все, кто были в Совете — меньшевики, с.-р'ы и укр. националисты — так и остались.

Никто не вышел, никто особенно не протестовал...

Городскими делами заправляла еще городская дума, где большевики были в меньшинстве.

Словом, все получалось весьма чинно и благородно, а для буржуазии даже мало обременительно.

Впрочем, буржуазия была иного мнения.

Она себя считала весьма обиженной и повела тактику подкопа под Советскую власть, путем закрытия заводов и невыплаты жалованья рабочим.

Национализация предприятий не давала выхода, так как не было средств для расплаты.

Тов. Антонов (кстати, не просто командир отряда, а член Совнаркома РСФСР) решил вмешаться в это дело и подтолкнуть харьковчан на более решительные действия по отношению к буржуазии. Кажется, у него была задняя мысль — кое-что перехватить и для своих отрядов.

Антонов предложил наложить на буржуазию контрибуцию.

Харьковский Совет не решался.

Тогда это взял на себя сам Антонов...

Группа матросов, по его приказу, арестовала десятка полтора крупнейших харьковских капиталистов и привела на вокзал, в штаб отряда.

Здесь им было предложено внести один миллион на расплату с рабочими.

Негодованию буржуев не было границ...

Они страшно протестовали и категорически отказались выполнить требование. Но курьезнее всего, что протест их был поддержан и Харьковским Советом и большевистским комитетом.

Я узнал обо всей истории из телеграммы, посланной Артемом тов. Ленину.

Ильич поручил мне выяснить, в чем там дело.

Я снесся по прямому проводу с Народным Секретариатом Украины.

Наши товарищи целиком поддерживали Антонова.

После этого Ильич запросил об'яснения от самого Антонова.

Потребовал еще раз более подробного освещения данного вопроса тов. Артемом и стал решительно на сторону Антонова. Послал по телеграфу внушительный нагоняй Харьковскому Комитету.

Кстати сказать, буржуазию поместили отнюдь не в „подвал", а в комфортабельный вагон. Они получали довольствие из вокзального буфета. Целый день пили кофе, курили сигары. Было только запрещено выходить из вагона.

После нескольких дней отсидки, они, в конце-концов, видя, что Харьковский Совет, под нажимом из Питера, уже их не поддерживает, вынуждены были уступить и требуемые деньги внести.

Эта история надолго испортила отношения харьковчан к тов. Антонову, да и к нам отчасти.

Примерно, через неделю после этого случая, войдя в кабинет Ильича (куда обычно входил без всякого доклада), я застал там какого-то товарища, горячо доказывавшего Ленину, что не для того делали революцию, чтобы уподобляться кавказским разбойникам, которые берут в плен людей и требуют выкупа.

Ильич, лукаво улыбаясь одним глазом, говорил ему: „Согласитесь, есть маленькая разница: кавказские разбойники кладут выкуп себе в карман, а мы его берем для целей революции..." Кроме того, частные эксы разлагают организацию, а подобный нажим на буржуазию со стороны победивших советов сплачивает массы вокруг них.

Вообще, с буржуазией нечего особенно церемониться, и может быть придется еще сильнее нажать, если она будет упираться. Я попал на самый конец разговора. Ильич считал вопрос ясным.

Беседа перешла на другую тему.

Тот же товарищ, оказавшийся Артемом (я его до того не знал), стал энергично нападать на Украинское Советское правительство, называл нас самозванцами и прочими нелестными эпитетами (кстати сказать, сам он формально входил в состав Народного Секретариата).

Он доказывал (как сейчас помню) реакционность идеи создания Украины, хотя бы Советской.

Он доказывал, что создание Украины, хотя бы Советской, является отрицанием принципа диктатуры пролетариата.

Вместо этого,—говорил он,—пытаются установить диктатуру правобережного мужика.

Ильич слушал, слегка улыбаясь, но определенно не высказываясь.

Он в это время как раз вел игру с левыми с.-р'ами насчет советизации Центральной Рады.

Однако, все же заметил, что ничего реакционного в Советской Украине нет, и, что, может быть, нам придется всерьез ее строить с обязательным включением туда и донецких рабочих. Именно затем, чтобы Украина была Советской. „Впрочем" — говорил он — „вам там на месте виднее" (хитрый старик был).

Сталин по этому вопросу высказывался определенней и в разговорах с тем же Артемом, в моем присутствии, указывал на примеры Латвии и Чехо-Словакии, где тоже долгое время национальная культура была в полном загоне и теплилась лишь в глухих деревнях.

Во всяком случае, Артему не удалось добиться в Петрограде, в Центральном Комитете Партии, директивы роспуска Украинского Советского центра, чего он добивался тогда, и он поехал на Украину организовывать пресловутую Донецко-Криворожскую Республику.

Между прочим, мне довелось быть свидетелем любопытной игры, какую вел Владимир Ильич с левыми с.-р'ами.

По сравнению с ним, они были совсем малыми ребятами, и Ильич играл с ними, как кот с мышью.

Время было трудное.

В городах мы, большевики, имели везде большинство в Советах Рабочих и Солдатских Депутатов.

Советы Крестьянских Депутатов в селах были, в большинстве, еще с.-р'скими.

Вначале крестьянство шло за правыми с.-р'ами, потом, к октябрю, в большинстве мест овладели положением с.-р'ы левые.

Ильич, как никто, понимал все значение в нашей революции крестьянства.

Овладеть крестьянством непосредственно мы еще не могли. Приходилось действовать через левых с.-р'ов.

Нельзя сказать, чтобы эти последние были надежными союзниками.

Они колебались по всякому поводу и даже без повода.

Амбиции и претензии этих господ были сплошь да рядом безмерными.

Сами по себе они были на редкость бесталанными: достаточно то, что такие герои фразы, как жеманный ломака Карелин, играли у них роль лидеров.

Носились с.-р'ы, как с писанной торбой, с Марией Спиридоновой.

Что она искренняя революционерка (революционерка сердца), спору нет, но что была она столь же несомненной истеричкой, это, к сожалению, тоже правда.

Лидеры левых с.-р'ов везде и всегда изображали из себя свиту вокруг Марии Спиридоновой, превращая ее своим почетным благоговейным отношением в своего рода Мадонну.

Вообще, все это выходило у них изысканно, изящно, невыносимо высокопарно.

Владимир Ильич, органически не выносивший всякой болтовни, должен был часто терпеливо выслушивать лево-с.-р'овские разговоры, успокаивая их нервы, расстроенные „большевистской грубостью" по тысячам всяких мелочей.

Бывало, выйдет компания с.-р'ов из его кабинета, Ильич вздохнет облегченно, или иной раз выругается (не то, что поганым каким словом, но крепким). Однако, понимая необходимость до поры до времени держать левых с.-р'ов в руках, чтобы через них установить связь с деревней, Ильич проявлял чудеса дипломатии...

Он бывал обворожителен.

Зная слабые струнки с.-р'овских лидеров, особенно Спиридоновой, он тоже иногда, не то, что пел ей дифирамбы, но так ловко выказывал ей знаки своего внимания, что простодушная Спиридонова буквально таяла. Все-таки, с Ильичем все считались—даже левые с.-р'ы,—как с общепризнанным вождем.

Между прочим, Ленин выдвигал идею об'единения партии большевиков и левых с.-р'ов в одну мощную, непобедимую партию.

Мы-то знали, что Ильич всерьез об этом не думает.

Нелепо было бы, в самом деле, заниматься подобным кровосмешением твердокаменных большевиков с с.-р'ской размазней.

Но Ильичу нужно было, во что бы то ни стало, добиться об'единения Советов Рабочих и Крестьянских Депутатов, до того существовавших отдельно...

Как известно, лишь на 3-ем с'езде Советов произошло слияние, при том левые с.-р'ы в массе были против об'единения и настаивали на сохранении отдельного Совета Крестьянских Депутатов, рассчитывая иметь в нем влияние и тем самым иметь под собой серьезную базу.

Ильич со своим предложением о слиянии партий нигде ни разу публично не высказывался.

Об этом говорилось совершенно частным образом, в секретнейших собеседованиях с верхушками левых с.-р'ов.

Мне случалось слышать эти разговоры, сидя за перегородкой в кабинете Ильича.

Грешным делом, признаюсь, я тогда тоже неясно представлял Ленинскую игру и несколько удивлялся его предложению.

Левые с.-р'ы относились к этому серьезно.

У меня была одна старая приятельница с.-р'ка, близкий человек Марии Спиридоновой; она рассказывала, считая меня сторонником идеи слияния (сама она была тоже за это), что Спиридонова соглашается, но другие лидеры — Карелин, особенно — были против.

Приближался третий с'езд Советов. Ильич особенно интересовался составом Крестьянского с'езда. Он боялся, что левые с.-р'ы будут там в значительном большинстве.

Организацией с'езда, а также переговорами с с.-р'ами занимался, главным образом, Свердлов, получавший постоянно точные директивы от Ильича.

Как-то раз, будучи свидетелем разговора Ленина со Свердловым о возможных мероприятиях, какие облегчили бы слияние двух с'ездов, а, главное, избрание на с'езде Центрального Исполнительного Комитета, я указал, что мы на Украине с самого начала об'явили об'единенный с'езд и создали об'единенный ЦИК.

Владимир Ильич ухватился за это: „Надо будет обязательно использовать украинский опыт и как-нибудь подсказать крестьянам, что и у нас не мешало бы то же сделать".

Он поручил Свердлову столковаться со мною на счет тактики.

Дело в том, что, как выяснилось, Свердлов от имени большевиков договорился с левыми с.-р'ами, что со стороны большевиков нажима на крестьянских делегатов, в смысле обязательного об'единения, не будет. Со своей стороны с.-р'ы обязались не ратовать против об'единения.

Словом, получалось нечто в роде „свободы самоопределения" для крестьянских депутатов.

Тактика большевиков заключалась в следующем: с'езды собирались отдельно — рабочий несколько раньше, крестьянский дня на два позже.

С левыми с.-р'ами на счет об'единенного ЦИК'а договориться не удалось.

Наши предложили с.-р'ам устроить, по открытии крестьянского с'езда, одно торжественное совместное заседание, и расчет был на то, что раз попавшие в семью рабочих депутатов мужички сами не захотят отделиться.

Чтобы не сорвать об'единенного торжественного заседания, против которого с.-р'ы вначале тоже возражали, большевики соглашались вопрос о дальнейшем ведении с'езда и порядке выборов оставить открытым.

Свердлов договорился с левыми с.-р'ами, что на открытии крестьянского с'езда этот вопрос большевики поднимать не будут, и дело ограничится вообще оффициальными приветствиями от партий, по одному от каждой, после чего крестьянский с'езд пойдет в Таврический дворец к с'езду Рабочих и Крестьянских Депутатов.

Но отчего не воспользоваться удобным случаем сделать соответствующий намек, если это возможно.

Мы условились со Свердловым, что он предложит дать мне слово для приветствия от имени Советской Украины, а я, в осторожной форме, не ведя прямой агитации, фактически поставлю вопрос об об'единении с'ездов.

Так мы и сделали.

После коротких приветствий от партий дали мне слово, как представителю Украины.

Я и начал приветствовать с'езд крестьянских депутатов от об'единенного ЦИК'а Рабочих и Крестьянских Депутатов Украины. Рассказал им, что на Украине нет разделения с'ездов и ЦИК'ов, что там установлено полное единство рабочих и крестьян.

Наши делегаты - большевики были подготовлены и принялись бешено апплодировать и требовать с мест, чтобы с'ездом было проведено об'единение.

Это тем легче было провести на данном собрании, что у нас было маленькое большинство на этом с'езде, большинство, правда, кажется, случайное. Еще не все делегаты приехали, а большевистские делегаты, местные, многие уже имели тогда мандаты на оба с'езда, рабочий и крестьянский; и так как с'езд Советов Рабочих и Крестьянских Депутатов собрался раньше, то они были на месте в Петрограде. Чисто крестьянские с. - р'овские депутаты частью запоздали.

Беспартийная часть с'езда, мало разбиравшаяся в с. - р'овской политике, была инстинктивно за об'единение.

С. - р'ы были страшно возмущены и укоряли Свердлова, что он их подвел. Свердлов оправдывался: „Я не при чем: тут Затонский выступал не как большевик, а как представитель Украины. Черт его знал, что он там скажет".

Чтобы как - нибудь сгладить получившуюся неловкость, с. - р'ы, сверх программы, потребовали себе еще слово.

Выступил Карелин, кажется.

Я помню только, что с. - р'овский оратор говорил долго, нудно, поразительно бессвязно.

У него было - таки глупое положение.

Высказываться против об'единения, при подобном настроении с'езда, он не мог и говорил он что - то совсем несуразное: общие фразы насчет единства идейного, слияния сердец и т. п. в таком же роде.

Смысл речи, примерно, был такой (кто в состоянии был ее понять): так как мы всем сердцем и помышлением своим все совершенно едины, то нам незачем сейчас толковать об организационном оформлении единства.

Это, мол, все мелочи, нестоющие внимания, а практически не всегда даже нужные.

Иногда даже полезнее формально итти врозь.

У с'езда от этого выступления осталось самое скверное впечатление, и уже ясно было, что подбить крестьян на создание отдельного ЦИК'а не удастся.

Карелин после этого, встречаясь со мной, недельки две делал вид, что меня не замечает. Он почему - то был особенно разобижен.

Слияние двух с'ездов, имевшее место в тот же вечер в Таврическом дворце, представляло из себя незабываемую картину.

Тут уже не нужно было никаких ухищрений.

Картина получилась стихийной силы.

Ильич после этого с с.-р'ами об об'единении партий уже больше не говорил, и, вообще, левые с.-р'ы быстро стали терять всякое влияние.

Весьма вероятно, что политика тов. Ленина по отношению к Центральной Раде и его кажущееся покровительство с.-р'ам в этом вопросе вызывалось, именно, потребностью овладеть решающей командной высотой — ЦИК РСФСР.

С этой точки зрения его политика была правильной.

Дело наших украинских большевиков было разоблачить и сорвать с.-р'скую авантюру на Украине.

Почти целый месяц мне удавалось быть свидетелем того, как работал тов. Ленин.

Досадно, что я ничего не записывал, и сейчас в памяти мало осталось.

Мне лично, в смысле общего развития и уяснения большевизма, этот месяц дал чрезвычайно много.

Сейчас странно вспомнить ту простоту нравов и примитивность, с какой мы начали работать.

Это сейчас мы дни и ночи трудимся над бюджетами, а в ту пору было иначе.

Помню я встречу Сталина с Пятаковым в корридоре. (Юрий Пятаков был тогда комиссаром государственного банка).

„Мне — говорит Сталин — нужно десять миллионов", (а время — около 12-ти ночи). При чем Сталин настаивал на том, чтобы деньги были немедленно доставлены. Их надо куда-то срочно отправлять. Едет товарищ, надо воспользоваться случаем — с ним передать (на что, именно, нужны были деньги, не помню). Пятаков начинает доказывать, что сейчас деньги получить никак невозможно. Деньги в кладовых. Кладовые с двойными или тройными замками. Ключи у директора банка, у кассира, еще у кого-то там. Наконец, даже если бы собрать ключи, так без формального ордера, по всем правилам выписанного, никто не имеет права отпустить ни копейки, а тут десять миллионов!

Сталин ужасно возмутился подобным „бюрократизмом“: „Что мы, — говорит, — правительство, или нет? А если правительство, так чтобы деньги через полчаса были!“

Из того, что осталось в памяти о том же периоде, приведу еще один эпизод.

Обсуждался декрет о создании Красной Армии. Из-за чего дело началось, не знаю. Помню только, что раза два этот декрет стоял на повестке Совнаркома; кстати сказать, повестки, собственно, не было, а ставились вопросы присутствовавшими Наркомами и тут же разрешались. „Бюрократический“ обычай устанавливать заранее повестку и разрабатывать заранее вопросы установился позже.

Что Красную Армию надо создавать, это все понимали, а как — никому невдомек. Ну и мудрили, понятно. Поспорят, поспорят, да и отложат. Заседал тогда Совнарком почти каждый день, обычно, по вечерам. Заседания начинали в 10—11, кончали в 3—4 утра. Время было горячее, днем заседать некогда.

Раз только заявляет вдруг Ильич на заседании, что не закроет, пока мы не примем проекта.

Вооружился сам пером и начал черкать. Текст уже был проработан на машинке. Поправок было очень много, перечеркнуто еще больше.

Это сейчас легко сказать „создать Красную Армию“, а, ведь, дело было в январе 1918 года, когда еще не дошли домой демобилизованные на фронте солдаты, когда мысль о создании регулярной Красной Армии встречала даже „принципиальные“ возражения, и когда никто ни малейшего понятия не имел, как это армия строится даже в нормальное время. Нужна была большая смелость, чтобы издавать подобные декреты; но чего-чего, а смелости было тогда, хоть отбавляй!

Декреты пеклись, как блины, тут же на заседании Совнаркома и немедленно после принятия обычно направлялись с 3-го этажа на первый, где помещался в маленькой комнатке телеграф. Всего, кажется, два „Юза“ и три „Морза“: Оттуда только что принятые декреты-декларации отправлялись: „всем, всем, всем...“

Я, абсолютно ничего не понимавший в армейских делах, даже не слушал, о чем шла речь. Выправлял Ильич этот

декрет преимущественно сам, не говоря никому ни слова, черкал и переправлял.

Мы сидели рядом с Луначарским и беседовали о чем-то душеспасительном по вопросам просвещения (я, ведь, числился Секретарем народного просвещения на Украине), вдруг слышу голос Ильича: „а ну-ка, передайте на тот конец стола, пускай Затонский подпишет, чтобы потом Украина не отпиралась".

Тогда порядок был такой, что декрет подписывал Ильич, Нарком, внесший этот декрет, Управдел, Секретарь Совнаркома и еще три каких-нибудь Наркома, все равно какие.

С этими подписями декрет отправлялся на телеграф.

Я сидел как раз на противоположном от Владимира Ильича конце длинного стола, в так называемой „красной комнате" Смольного.

Характерно для Ильича, что он умел замечать, наряду с самым существенным, основным, всякую мелочь, если и ее можно использовать для дела революции. Вот и в данном случае Ильич не упустил, на всякий случай, формально обеспечить единство будущих вооруженных сил Советской России и Украины. Таким-то образом под декретом оказалась и моя подпись между подписями двух левых с.-р'ов, Штейнберга и Прошьяна.

Кажется, не случайно тов. Ленин предложил именно левым с.-р'ам подписать. Они вначале несколько возражали против создания регулярной армии.

В Питере я пробыл до конца января, когда было получено там известие о продвижении наших войск почти до Киева.

В. Затонский

Октябрьская революция в Киеве

I

Пролетарская революция на Украине сильно запоздала. К концу октября в Киеве сложилось такое положение, при котором в основном споре, в основной борьбе участвовали не две силы, как в Петрограде, где против единого буржуазного фронта, поддержанного мелко-буржуазными социалистическими партиями, выступал и наступал единый большевистско-пролетарский фронт. На территории Киева были 3 основные борющиеся силы и, кроме того, еще побочные отряды, конечно, мелко-буржуазного характера, медленно определявшие свои позиции, в зависимости от того, на какой стороне вырисовывалась победа. Здесь, наряду с силами пролетариата, боровшегося против буржуазного об'единения элементов общероссийской „демократии", выступала об'единенная украинская „демократия" под флагом „Национального Освобождения Украины". Поэтому борющиеся силы здесь в процессе революции расположились треугольником. В центре находились военные силы Временного Правительства, на левом фланге — большевистско-великорусские части и на правом фланге — украинские воинские части. Временное Правительство на Украине к концу октября имело на своей стороне части местного гарнизона, главную силу которого составляли военные училища — юнкера, группировавшиеся вокруг штаба военного округа. Политическая верхушка этой группы оформилась в лице тройки: командующий военным округом — ген. Квицинский, политический комиссар при нем —

И. Кириенко — с.-д.-меньшевик, бывший член 2-ой государственной Думы от Киева, и, наконец, городской комиссар Киева — Константин Прокофьевич Василенко [1]) — с.-д.-меньшевик. Вокруг этой тройки сплотились общественные элементы, составлявшие городскую Думу, губернское земство — небольшие фракции в Совете Рабочих Депутатов и в среде профессиональных союзов и, наконец, многочисленные слои городского мещанства, российской интеллигенции и мелкой буржуазии, в высшей степени враждебно настроенной по отношению к национальному украинскому движению. Несмотря на то, что эти общественные элементы отдавали в тот период свои симпатии соц.-рев. и с.-д., меньшевистская программа которых по многим вопросам [2]) сближалась с программой украинских с.-р. и украинских с.-д., — несмотря на то, что, таким образом, классовые позиции позволяли этим партиям об'единить руководимые ими общественные группы мелкой буржуазии, — национальная вражда между ними была так велика, что ни о какой близости, ни о каком об'единении, или даже только политическом контакте не могло бы быть и речи. На территории Украины в октябрьские дни развернулась с необычайной жестокостью националистическая склока между господствующей русской крупной и мелкой буржуазией и подавленной украинской мелкой буржуазией. Российские меньшевиствующие партии опирались на городское мещанство, украинские же — на кулацкое крестьянство, и схватка между деревенской буржуазией и городским мещанством получила здесь наиболее яркое, можно сказать, наиболее классическое выражение. Почему это оказалось возможным на Украине? Потому что Центральная Украинская Рада за первый период времени, от марта до октября, успела организовать зажиточное кулацкое крестьянство на почве борьбы за освобождение украинской земли и за передачу ее исключительно украинским кулакам. В то же самое время власть, выражавшая экономические и политические интересы украинского кулака — Центральная Украинская Рада — не успела еще обанкротиться и разбить иллюзии других слоев населения, середняцкого и пролетарского

[1]) Впоследствии прославился участием в „Национальном центре действия".

[2]) Например, по аграрному вопросу.

крестьянства, иллюзии, которая состояла в том, что селянская украинская власть, в лице Центральной Рады, даст трудящемуся крестьянству „землю и волю“, даст ему необходимую городскую продукцию и выведет его из состояния страшной войны, которая поглощала все его живые человеческие и производительные силы. Именно эта националистическая идеология крестьянского кулачества на Украине породила в среде трудящихся слоев села иллюзию близкого осуществления лозунгов „земли и воли“ и обусловила тот факт, что национальная борьба между господствовавшей и подавленной буржуазией, между классификаторским помещичье-банковским капиталом и кулачеством временно оказалась более мощным фактором, чем классовая борьба между буржуазией и пролетариатом, которая в октябре развивалась уже полным ходом на территории России. Меньшевики, Бунд и эс-эры на Украине проводили полностью национальную центроместную политику Милюковых и Гучковых, а, сталобыть, и политику империализма русско-франко-английской марки, раздували национализм кулаков и запугивали середняков призраками германских и большевистских грабежей. Своей беспримерной грубостью все эти созидатели „национальной“ программы „Керенской демократии“ помогали Винниченко и Голубовичу сплотить кулака и середняка-украинца и временно замазать в их глазах и в глазах части бедняков все вопросы, кроме вопросов национальных. С другой стороны, и большевистские пролетарские элементы были не только организационно слабы еще в тот период, но и количественно были недостаточно мощны, чтобы вышибить инициативу борьбы из рук националистов и соглашателей. Развитие классовой борьбы на Украине еще не в достаточной степени дифференцировало от национального движения пролетарские элементы как в селе, так и в самом городе. Киев был одним из последних городов, в котором большевики получили большинство в Совете Рабочих Депутатов и притом большинство это было не настолько подавляющее, как в других центрах России, где меньшевики и с.-р., после корниловских дней, с необычайной быстротой теряли свои позиции. Националистическая атмосфера, насыщавшая город, отражалась не только на украинской, но и на еврейской общественности и поражала вместе с мелкой буржуазией

прилегающие к ней слои пролетариата. Только этим может быть об'яснено то, что некоторые части украинского пролетариата шли за украинскими с.-д., некоторые слои еврейского пролетариата шли за Бундом и еврейскими социалистическими партиями, и некоторые слои российского пролетариата шли за меньшевиками и с.-р. Этой классовой слабостью революционного движения Украины дополняется об'яснение факта, что классовая борьба между пролетарско-советской и буржуазно-демократической властью, которая выкристаллизировалась уже из пены революции в центре, на Украине была не основной борьбой, и что большевики в Киеве в октябре еще не были главной движущей силой революции.

Это можно видеть из того, как складывались действующие силы.

Центральная Рада образовала „паритетный краевой комитет спасения революции" — это и есть неписанная программа Центральной Рады того периода. „Краевой Комитет" обозначает, что на Украине, в Киеве, украинские „революционные" элементы еще не отрывались от общей российской „демократии", готовясь создать краевой оплот для спасения революции против всех тех сил, которые этой революции угрожали как справа, так и слева, т.-е. и против сторонников Временного Правительства и против анархических и захватнических действий российских большевиков. Во главе своих воинских сил Центральная Украинская Рада поставила военного секретаря Петлюру и полковника Павленко, которые опирались на силы общественно-военной украинской организации, созванной в Киеве к 20 числам октября на 3-й с'езд.

Трудно себе представить платформу более националистическую, чем та, которая была выработана на этом 3-м с'езде. В речах представителей воинских организаций планы и намерения Центральной Рады звучали по-военному не совсем так, как это хотелось бы хитрым политиканам Центральной Рады. „Мирная, конституционная" борьба против москаля, против насильника, готового захватить украинскую землю, против „голодного пуза", готового прийти на Украину за продовольствием и углем, переводимая на язык военных действий, звучала, как угроза войны России, так, как она действительно и звучала через 2—3 месяца. Стремление

широких масс крестьянства к миру, на языке делегатов 3-го воинского с'езда, звучало не только, как угроза ухода с фронта, но и как угроза удара в тыл. И, наконец, проведение и углубление революции на территории Украины, на языке воинских организаций, было похоже не столько на разрыв с „революционной демократией центра", сколько на пламенное желание, не теряя ни одного месяца, порвать с самой Россией и под желто-голубым знаменем ввести Украину в орбиту влияния. Эти лозунги воинского с'езда Центральная Рада перевела на дипломатический язык, назвав свой комитет „Спасения революции" скромным именем „Краевого" и потребовав, чтобы все, стремящиеся охранить революцию, силы вошли в состав Краевого Комитета, для борьбы с тройкой из Квицинского, Кириенко и Василенко.

В то же самое время господствующая в Совете фракция большевиков еще 22 октября образовала Ревком, в составе 6-ти лиц, имена коих не были опубликованы [1]). Ни для кого не было тайной, что этот Ревком не является пропагандистским центром, но что это есть верхушка военной организации, которая обладает значительной мощью, и без которой борьба между Украинской Центральной Радой и Временным Правительством не может быть категорически разрешена.

Так сложилась позиция треугольника. Положение в Петрограде еще не определилось. Чем закончится борьба большевиков против Керенского, еще было неизвестно. Окажутся ли большевики центральной властью, или опять оппозицией — это еще было проблемой. Скорее верили в последнее. А это обозначало, что необходимо прежде всего и раньше всего ликвидировать Керенского и К°. В этой ситуации пред большевиками и стал вопрос о том, действовать ли им независимо от националистов в своей борьбе против военного штаба, или временно об'единить свои силы для сокрушения главного противника. Таким образом, получилось две коалиции: с одной стороны — Квицинский и Кириенко, к которому присоединились не только меньшевики и с.-р., но и кадеты с правыми и монархистами; с другой стороны — Центральная Рада вместе с большевиками. Вне борьбы оказался, если

---

[1]) Совершенно необходимая в условиях борьбы с Ц. Р. предосторожность.

память мне не изменяет, только Бунд, который не хотел участвовать вместе с Шульгиным и Кириенко в его „Комитете Спасения", а если бы и хотел, то не мог бы, из-за отсутствия винтовок; затем чехо-словацкий полк и, наконец, многочисленные казачьи части. Чехо-словацкий полк был вызван с фронта Кириенко, который отлично учитывал военную слабость Временного Правительства в Киеве. Но этот полк недолго участвовал в развернувшихся военных действиях. Еще в то время, когда он стоял в Марьинской роще (под Киевом), против него были двинуты отряды из рабочих-арсенальцев, которые быстро принудили его занять нейтралитет.

Нужно правду сказать, что гораздо более важным фактором оказались именно казачьи части, которые тоже в 20-х числах октября проводили свой с'езд в Киеве. Эти тысячи прекрасно вооруженных людей отнюдь не имели желания, подобно Бунду, оставаться нейтральными. Нет никакого сомнения в том, что политические симпатии и классовые интересы казачьих вождей тянули в сторону помощи военному штабу, и только опасения возможных конфликтов между массой казаков и Центральной Радой, которая казалась наиболее вероятным приемником власти на Украине, до поры до времени удерживали их от активных выступлений.

На заседании Малой Рады, в котором выяснилась колеблющаяся позиция казаков и возможность совместного выступления их с Квицинским и Кириенко, председатель малой рады, Грушевский, напомнил казакам, что они находятся на территории украинского народа, и что они, в качестве третьей силы, не вправе вмешиваться в национальную борьбу, которую „ведет украинский народ за свое освобождение". Казаки действительно стали переходить на нейтральную позицию, и это заставляет нас думать, что между ними и основными фракциями Центральной Украинской Рады, — у. с.-д. и у. с.-р., — состоялось какое-то тайное соглашение, которое определило контр-революционную позицию Центральной Рады в будущем, когда на Дону начало образовываться контр-революционное белогвардейское казачье правительство. Однако, основным фактором того, что казаки не вмешались в борьбу на Украине, являлась слабость военного штаба, который, сравнительно в короткий срок, был сокрушен

совместными силами украинцев и большевиков. Перестрелка длилась не больше 2—3 дней. Как только юнкерские силы были деморализованы, все остальные воинские части покинули военный штаб, а ген. Квицинского нашли в одном из военных училищ, заснувшим от усталости, в полном одиночестве и в состоянии самого жалкого бессилия. Его главный помощник, меньшевик Кириенко, бежал.

Первый этап Октябрьской революции на Украине был закончен. Общероссийское об'единение сил буржуазии, опиравшееся на меньшевиков и эс-эров, на банковских и биржевых дельцов, на помещиков, городское самоуправление и городское мещанство, было сломлено. На поле битвы остались лишь временные союзники — пролетариат, еще пока изолированный и разобщенный от беднейшего пролетарского крестьянства, и организованное кулачество села.

Поскольку пролетариат выполнял грандиозный план социальной революции на всей территории России и на Украине, — выразитель классовых интересов и стремлений всероссийского рабочего класса должен был поставить перед собой задачу внесения классовой борьбы — в ее чистом виде — гражданской войны в среду недифференцированного села с тем, чтобы, опираясь на силы бедноты, сокрушить кулацкую власть Рады; эту задачу и поставили перед собою большевики тотчас же после уничтожения власти Временного Правительства, когда они еще состояли в об'единенном штабе с Петлюрой.

Эту же задачу, конечно, в оборотном освещении раздробления мощи и единства рабочего класса, должны были поставить перед собой и украинцы, которые так же сильно ненавидели рабочий класс России, как и ее буржуазию.

С 26 октября поэтому должен был начаться второй этап более острой борьбы за октябрьскую революцию на Украине.

II

В том, что мы изложили до сих пор, требует об'яснения тот факт, что большевики согласились войти в паритетный комитет с украинскими социалистическими партиями, националистический характер которых, конечно, не мог быть скрыт от большевиков. Основное об'яснение дано уже тем, что

большевики вынуждены были искать союзников в борьбе против военных сил Временного Правительства, которое было тогда главным врагом пролетарской революции.

Наряду с этим, надо, однако, припомнить также и то, что украинские социал-демократы, а нередко и социал-революционеры, выявляли такую левизну в своих позициях, такой радикализм в своем отношении к Временному Правительству в разные фазы демократической революции, что они, казалось, могли быть не только военными, но и политическими союзниками большевиков. Прежде всего, украинские социал-демократы довольно последовательно стояли на позиции однородного социалистического правительства, борясь со всякого вида коалицией с буржуазией. Конечно, лозунг социалистического правительства на Украине, в трактовке УСД и УСР, не означал, что они были сторонниками социальной революции, беспощадной классовой борьбы с буржуазией, сторонниками национализации промышленности и т. д. Они готовы были применять методы большевистской пролетарской борьбы лишь постольку, поскольку это согласовывалось с борьбой против „чужой" буржуазии — против русских и польских помещиков, против евреев и поляков — банкиров или сахарозаводчиков. Но, наряду с этим, они целиком стояли за коалицию с крестьянско-кулацкой буржуазией и были определенными сторонниками сохранения в крестьянском хозяйстве частной собственности. Это можно вычитать не только из каких-либо оффициальных документов, но, главным образом, это можно было установить в процессе той борьбы, которая шла в Центральной Раде по вопросу об аграрном законопроекте, когда большевики, в союзе с демократическими группами Рады и частью УСР, вели беспощадную борьбу против программы социализации земли, но, так или иначе, на всех крупнейших совещаниях, которые устраивались во всероссийском масштабе господствовавшими тогда мелко-буржуазными социалистическими групками, украинские социалисты выступали в поддержке большевиков с чрезвычайно левой октябрьской фразеологией, густо насыщенной радикализмом пролетарских требований. Это и было тем косвенным фактором, который помогал им, до поры до времени, скрывать свою настоящую политическую физиономию и толкало большевиков к тому, чтобы выступать в контакте с украинцами,

хотя бы на базе принципа „врозь итти, вместе бить". Конечно, этот военный союз не мог быть долговременным.

После того, как основные задачи краевого Комитета спасения революции при Центральной Раде были осуществлены, и войска Временного Правительства, в значительной части, перешли на сторону украинцев и большевиков, а Военный Штаб был захвачен или бежал, — союз с большевиками начинает тяготить украинцев. Больше того, украинцы поняли, что в создавшейся обстановке большевики только на время могут отсрочить переход к активным действиям в целях завоевания власти и передачи ее Советам Рабочих, Крестьянских и Солдатских депутатов, большинство в которых принадлежало им.

К этому времени борьба в Петрограде закончилась полным поражением Керенского. На фронте назревали серьезнейшие события, связанные с решением большевиков немедленно перейти к выводу русских войск с театра военных действий и решительному братанию с австро-германцами. Украинцы опасались, что фронт будет дезорганизован раньше того, чем они успеют на Юго-Западном фронте овладеть намеченными частями войск и получить, таким образом, достаточную военную опору для развития и углубления своей националистической революции. Поэтому они были чрезвычайно благодарны Бунду, который в ближайшие дни, после прекращения уличной борьбы, внес в Центральную Раду вопрос об осуждении Петроградского восстания. Здесь отмечаемый нами нейтрализм Бунда помог ему сыграть роль осла, на котором украинские партии весьма удобно и быстро приблизились к осуществлению своей задачи—разделаться с большевиками в Раде. Представитель Бунда Рафес внес резолюцию об отмежевании от большевистской диктатуры и от гражданской войны на Украине. Резолюция эта, при притворном удивлении украинских партий, была принята демократическими группками Малой Рады (польским демократич. централом, социал-федералистами, еврейскими националистическими групками, меньшевиками и эс-эрами вместе с российскими меньшевиками и эс-эрами, бундом и т. п.), к которым присоединились частично УСД и УСР.

После этого большевики вышли из Центральной Рады и, хотя еще некоторое время они заседали совместно с

паритетным комитетом, но осложнения все усиливались. Обе стороны начали деятельно готовиться к той вооруженной борьбе, которая силою событий была поставлена в порядок дня.

К первым числам ноября, уже после того, как большевики прекратили забастовки, и в городе водворился порядок, Центральная Украинская Рада приняла третий универсал и сформировала новый генеральный секретариат, который имел характер однородного социалистического правительства, с участием национальных меньшинств, кроме большевиков. Таким образом, форму однородного социалистического правительства, которой тогда щеголяли украинские партии — „от большевиков до н.-с." — была осуществлена с маленькой поправочкой: в правительство не вошли большевики, зато вошли украинские социал-федералисты и польский демократический централ, т.-е. несоциалистические партии. Какую же политическую программу выдвинул третий универсал?

Ориентируясь на „непрочность еще" советской власти в России и на то, что Керенский и его сторонники продолжали еще лепетать о борьбе с большевиками, о войне до конца, об учредительном собрании и т. д., Центральная Украинская Рада ставила двойную задачу: с одной стороны, она выдвигала создание независимой республики, которая обладала бы всеми необходимыми орудиями власти, т.-е. деньгами, военными силами, путями сообщения и средствами связи. С другой стороны, еще не решаясь провозгласить полное отделение Украины от России, потому что это означало бы открытое изменение международной ориентации и переход от Антанты под покровительство австро-германской коалиции, она лицемерила насчет автономии.

В Центральной Раде большинство руководящих политиков к этому времени уже целиком и безусловно стояло на позиции самостийности Украины и на необходимости принятия австро-германской ориентации. Но Винниченко и Грушевский считали принятие твердого и открытого решения по этому вопросу еще несвоевременным, ибо у них еще не было достаточного военного базиса и соответствующего соглашения с центральными государствами. Поэтому политики Малой Рады стремились застраховать себя на оба фронта.

Как-то мне самому посчастливилось встретить во дворце, в Липках, французского консула или советника Пелисье,

который выходил от Винниченко в сопровождении блестящей свиты, после беседы с правительством Центрорады. В то же время вели они переговоры и с Советом Народных Комиссаров.

В соответствии с этим двоеручничеством, Малая Рада в своем универсале провозглашала украинскую народную республику с оговоркой, однако, что этим она не отделяется от российской республики и сохраняет это единство. „Мы,— сказано в универсале,— твердо становимся на собственную почву, чтобы нашими силами помочь всей России, дабы Российская Республика стала федерацией равных свободных народов".

III

Универсал отказывался от каких бы то ни было активных действий в пользу сепаратного мира и этим успокаивал меньшевиков, эс-эров и бундовцев, которые больше всего боялись, как бы генеральный секретариат не вступил в непосредственные переговоры о мире с австро-германским командованием. Универсал возложил на генеральный секретариат обязанность воздействовать через Центральное правительство, в целях скорейшего заключения мира, и заботиться о защите прав Украины на международном конгрессе.

Этот универсал вызвал ликование не только среди украинского мещанства и кулачества; в значительной степени, он одобрялся российскими партиями, которые сохранение единства республики и видимость единства фронта со всеми партиями, кроме большевиков, считали своей победой. Это побудило меньшевистские группки российской демократии реально поддержать генеральный секретариат, послав или согласившись послать своих представителей в его состав. На самом деле положение было совершенно иное: гражданская война не только не затихала, но именно теперь начала разгораться.

Рабочие Киева, и еще в большей степени рабочие других центров Украины, категорически отказывались признавать Центральную Раду и ее правительство — генеральный секретариат — своей властью. Несмотря на все ухищрения и зачастую наглые проделки Центральной Рады, большинство в Советах оставалось за большевиками, и только в них и в советской власти пролетарский элемент видел с в о ю власть.

Я помню один из митингов в арсенале, который превратился в состязание всех социалистических партий против большевиков. Меньшевики, социал-революционеры и украинские социал-демократы мобилизовали свои лучшие силы. Несмотря на то, что от большевиков выступал только один товарищ против трех — А. Иванов, единственно его выступление вызвало громадное воодушевление среди рабочих, и почти что все голоса были поданы за его резолюцию.

Только в рядах подлинной мелкой буржуазии: приказчиков, фармацевтов, учащихся, соглашательские группы имели некоторый успех. Учитывая растущее недовольство пролетариата и глубочайший разрыв между Центральной Радой и Киевским советом рабочих депутатов, Центральная Рада позаботилась о том, чтобы ускорить разрыв с большевиками, для чего она использовала известный ультиматум Совета Народных Комиссаров, пред'явивший секретариату требование не пропускать казаков, направлявшихся с фронта на Дон для организации Калединского правительства. Центральная Рада отвергла этот ультиматум и в ту же ночь перешла к активным действиям: она разоружила большевистски настроенную понтонную роту и некоторые другие части и, посадив разоруженных и раздетых солдат в теплушки, отправила их за пределы Украины. Это вероломное нападение на своих недавних союзников вызвало колоссальное раздражение в рабочей среде, и большевики ответили на него рабочей забастовкой. Но к этому времени рабочие Киева, благодаря деморализации воинских частей, были, в значительной степени, изолированы. Кулачество было в апогее своей организованности и националистического угара. То обстоятельство, что универсал передал все земли помещичьи, государственные в руки земельных комитетов, где они имели прочное и непобедимое большинство, создавало материальную предпосылку для кулацкой власти, и кулаки Украины готовы были силой оружия поддержать Раду, чтобы помешать приходу большевиков и отдаче земли в руки подлинной крестьянской бедноты. Вот почему попытка большевиков созвать в начале декабря с'езд советов потерпела и должна была потерпеть крах. Совершенно определенно учитывая, что в рабочей среде у большевиков будет громадное большинство, и что это большинство может оказаться достаточным,

чтобы отдать с'езд советов полностью в руки большевиков, Центральная Рада употребила героические усилия для того, чтобы этот с'езд потопить в волнах кулаческого крестьянства. Она разослала приглашения на с'езд всем филиям Рады, до сельских включительно, и сконцентрировала в Киеве от 2-х до 3-х тысяч делегатов, которые получили делегатские мандаты, тут же в Киеве, от секретариата Центральной Украинской Рады. Сформирование с'езда, таким образом, являлось вопросом силы. Большевики, после разоружения значительной части своих военных сил, физически не в состоянии были помешать Центральной Раде раздать „квитки" с'ехавшимся из сел кулакам и, таким образом, с'езд советов превратился в крестьянско-кулацкое море, в котором пара сотен большевистски настроенных рабочих были противопоставлены тысячам националистически-настроенных крестьян-кулаков. На этом с'езде был оглашен ультиматум Совета Народных Комиссаров. Руководящие политики Центральной Рады тут же об'явили во всеуслышание, что ультиматум будет отвергнут, и что, таким образом, наступит или грозит наступить состояние войны. Даже не все соглашательские партии, которые готовы были воевать с большевиками всеми средствами и во всяких формах, в состоянии были стерпеть эти выступления. Во всяком случае, Бунд, который всегда умудрялся сохранять нейтралитет, дал поручение своему представителю, заявить, что он будет стремиться избежать гражданской войны между Радой и Советом Народных Комиссаров, потому что война с большевистской властью будет войной между северной и южной частью российского пролетариата.

Я не помню теперь заявления, которое сделали меньшевики, но, думаю, не ошибусь, если скажу, что чуть-чуть прикрытый смысл их заявления сводился к тому, что необходимо сбросить как большевистскую, так и украинскую власть. В накаленной националистической атмосфере этого с'езда большевики, возглавляемые, сколько помню, т. Шахраем и Куликом, боролись в течение двух дней, но, несмотря на всю ту поддержку, которую им оказывали рабочие Киева, забастовка была сорвана, и большевистская фракция вынуждена была покинуть с'езд и переехать в Харьков, откуда в скором времени начали свое движение советские войска

на Киев. С этого момента началась открытая гражданская война на Украине и постепенный охват Киева войсками Совета Народных Комиссаров. С другой стороны, и Центральная Рада начала более открыто выявлять свою истинную политическую физиономию. Поскольку Совет Народных Комиссаров заставил ее принять войну и начать военные действия, перед ней уже не могло быть добавочного запасного пути, который она намечала для себя ранее, когда осторожно выдвигала лозунг самостийности: именно — соглашение с Советом Народных Комиссаров в случае, если бы его власть оказалась прочной. Центральная Рада могла теперь итти только в направлении открытого провозглашения своей самостийности, полной независимости для того, чтобы закрепить политическую базу для борьбы с российским пролетариатом. Центральная Рада поэтому начала форсированную подготовку к организации этого самостийного существования. Она поставила вопрос о создании у себя экспедиции заготовления денежных знаков и производила лихорадочное передвижение войсковых частей для того, чтобы укомплектовать в пределах своей территории достаточные для войны с Советской Россией боевые силы. Точно так же и вопрос относительно мира встал перед Центральной Радой гораздо скорее, чем это ей хотелось бы; и если прежде она могла вести тайную политику переговоров на обе стороны, то теперь, когда Советская Россия переживала эпоху Бреста, эпоху мирных переговоров с Германией, Центральная Рада вынуждена была поставить перед собой вопрос о том, послать ли ей делегатов в Брест и в каком именно виде послать. К этому надо прибавить и то, что в генеральном секретариате вопрос о необходимости заключения мира с германцами был предрешен, и украинские эс-эры, в лице Шаповала, и украинские социал-демократы, в лице Ткаченко, уже неоднократно и совершенно открыто высказывались в том смысле, что война с большевиками может быть доведена до конца только в том случае, если украинцы примут поддержку Германии.

Лидеры украинских социалистических партий не только военными стратегическими соображениями подпирали свою позицию. „Германский империализм — говорили они — менее страшен, чем российский, за спиной которого будет стоять

франко-английский империализм". „Германский империализм принесет нам независимость и культуру, российский — зависимость и колониальное существование". „Германия — прибавляли к этому Грушевский и Винниченко — пошлет нам целый поток культурных идей и мыслей, в то время как Россия не имеет никакого культурного багажа и будет посылать нам только голодных москалей".

Во всех этих фразах скрыт бешеный страх У.Н.Р. перед пролетариатом Р.С.Ф.С.Р. Советская власть обозначала переход всех органов и орудий власти в руки рабочего класса. Другого „империализма" российский пролетариат привести за собой не может. Поэтому разговоры об англичанах и французах после 25-го октября были только пугалом, которое годилось только для националистического крестьянско-кулацкого населения. Ориентация на германцев, напротив, обозначала надежду на то, что власть сохранится в руках украинской мелкой буржуазии, и что они будут иметь эту власть ценой отдачи германцам хлеба и угля. Украинцы предпочитали вырвать хлеб и уголь из рук российского пролетариата и этим ослабить его революционные позиции, укрепив свое собственное существование подчинением австро-германским империалистам. Украинские социалисты прекрасно понимали, что вопрос шел не о выборе между антантским и австро-германским империализмом, а о выборе между союзом с империализмом и соглашением с рабоче-крестьянской советской властью. Вот почему в те дни, когда разрешался вопрос о Бресте, громадное большинство политиков Центральной Рады, за исключением лишь небольшой группки независимых социал-демократов (представителем которых был тогда Неронович, впоследствии убитый), уже определили для себя всю позицию до конца и тайком формировали делегацию с поручением ей вести самостоятельные от Р.С.Ф.С.Р., сепаратные переговоры с Германией. Таким образом, вновь пересеклась линия внутренней и внешней политики Центральной Рады на отпадении Украины, с одной стороны, и на заключении сепаратного мира с германцами — с другой. Несмотря на всю таинственность, с которой производились приготовления, постановка на очередь этих вопросов не могла быть скрыта от российских партий. Уже в самом начале декабря в Бунде, примерно, существовало течение,

которое требовало разрыва с Центральной Украинской Радой на этих основных вопросах. 13-го декабря 1917 года я писал в органе Бунда „Фольксцейтунг" статью, озаглавленную „К открытию сессии Рады", стремясь в скрытой форме формулировать необходимость выйти из генерального секретариата на платформе борьбы с этим самостийническим стремлением. Я писал: „Украинская Народная Республика в военном, экономическом, финансовом отношениях слишком слаба, чтобы она могла сохранить свою самостоятельность, при сильном давлении со стороны европейских держав, а потому провозглашение „самостийной" Украины, в действительности, может означать только то, что Украина выступит из революционной России и попадет под протекторат империалистической Австрии и Германии. Это означало, что украинская демократия перестает быть революционной силой".

Вопрос, таким образом, стоял более или менее ясно, но беда была в том, что ни Бунд, ни отдельные меньшевики, как бы они интернационалистически ни были настроены, не обладали достаточно революционной волей для того, чтобы, вслед за словом, выявлять свою позицию действиями. Несмотря на то, что ясна была неизбежность заключения сепаратного мира, независимо от тех переговоров, которые вела тогда УНР с Советом Народных Комиссаров, несмотря на то, что УНР уже, очевидно, покинула путь революционного развития и стала пассивной выполнительницей предписаний австро-германского империализма, Бунд еще в течение 25 дней оставлял своего представителя в составе генерального секретариата и только 4-го января формулировал в прениях по вопросу о мирных переговорах свой окончательный разрыв с Центральной Радой. Расчленение России, особенно Советской России, было одним из основных стремлений австро-германского военного штаба, и совершенно ясно, что и сепаратный мир с Германией и провозглашение самостийности УНР были лишь двумя сторонами одной и той же медали — контр-революции, которую Центральная Рада последовательно проводила от марта до последних дней своего существования.

7-го января Центральная Рада провозгласила 4-й универсал, в котором она окончательно выявила наружу свое давнишнее стремление к полному и абсолютному отчленению

Украины от России и к переходу под протекторат австро-германского империализма. Руководящие политики Рады пытались и теперь инсценировать всенародную радость, подобно тому, как это удалось им месяц назад, при опубликовании 3-го универсала. Но напрасно. Общая обстановка была не такова, чтобы даже наиболее разгоряченные и наиболее бесчувственные сторонники „радовских" политиков, которые так превосходно владели искусством обманывать свои массы, могли поднять чье-либо настроение.

Наступление советских войск от Харькова планомерно развивалось. Полтава была уже в руках советских войск, и даже то обстоятельство, что бездарный военный секретарь Петлюра был смещен и заменен хитрым Поршем, не вносило никакого успокоения в ряды деятелей Центральной Рады. Их воинские части были абсолютно деморализованы. Командного состава не было, а беднейшее крестьянство [illegible] находившееся в армии, так и хлеборобы, было [illegible]кнуто жесточайшей ненавистью ко всему, что связано с [illegible]именем Центральной Рады. Беднейшее крестьянство не могло простить Центральной Раде аграрного законопроекта, который предоставлял в распоряжение отдельного хозяйства до 40 десятин земли, уяснив себе, что националистический лозунг „Земли и Воли" в устах украинцев-„социалистов" означает защиту кулаков и полную беззащитность бедноты; означает невозможность для бедняка-крестьянина бороться со стихией рынка, означает, таким образом, что беднота останется без земли, без инвентаря. Этот факт немало способствовал быстрому расслоению села. Беднота спешно организовывала советы, противопоставляя свои советы кулацким филиям Центральной Рады и спилкам. Она спешно составляла свои отряды Красной Гвардии, ставя под ружье вернувшихся домой солдат и особенно стремилась к тому, чтобы спешно переизбрать земельные комитеты, вытесняя оттуда кулаков.

Вот этот-то реальный и чрезвычайно быстрый процесс расслоения села наиболее сокрушительно действовал на украинские воинские части, делая их небоеспособными и вызывая в их среде междоусобицу. К этому надо добавить еще то, что и среди городского населения происходило нечто подобное.

Политическая и военная слабость Центральной Украинской Рады неизбежно усиливали ее националистический пыл. Стремясь обеспечить себя в среде рабочего класса, генеральный секретариат задумал видоизменить национальный состав пролетариата в свою пользу и для этой цели приступил к чистке рабочих в арсенале,—этого оплота большевистских сил в Киеве. Примерно такую же работу он начал проводить на почте, телеграфе и в целом ряде учреждений и предприятий. Вся совокупность этих мероприятий способствовала быстрому отрезвлению наиболее трудовых слоев городского населения, сосредоточению в этих слоях великой ненависти к дряблой, бессильной, но задорной и царапающей власти генерального секретариата. К этому не мешает добавить еще и еврейскую политику генерального секретариата. Декларируя торжественно принцип национальной персональной автономии, эту дешевую выдумку еврейских буржуазно-националистических партий, генеральный секретариат в то же время, спустя рукава, смотрел на систематические погромы, которые производились в городах и местечках разлагающимися воинскими частями и ретивыми сторонниками украинизаторской политики в селе. Правильнее, однако, будет сказать: не смотрел сквозь пальцы, а молчаливо поощрял погромную политику, поскольку ему казалось, что погромы будут служить в его руках орудием тушения революционной энергии еврейского пролетариата, быстро высвобождающегося из-под влияния меньшевистской идеологии Бунда и других еврейских партий. Когда однажды виднейший работник Бунда [1]) поставил в упор вопрос перед Винниченко, намерен ли он повести энергичную борьбу с погромами, в которых проливается кровь еврейских рабочих, Винниченко, не стесняясь, ответил: „мы, конечно, против этих погромов и готовы принять меры, но передайте еврейскому населению, что его открытая работа в пользу большевиков вызывает такую ненависть со стороны украинской демократии, что мы не в состоянии справиться".

Все это вместе взятое привело к тому, что власть генерального секретариата была расшатана в основе, военное положение его было трагично, и в рядах самой Центральной

[1]) Д. Липец — теперь уже давно состоящий в РКП.

Рады началось разложение: там сформировалась оппозиция в лице небольшой фракции украинских социал-демократов-большевиков и, с другой стороны, в лице фракции левых эс-эров-боротьбистов, которые ориентировались на рабочий класс и беднейшее крестьянство и были сторонниками соглашения с советской властью.

Вот в этих-то условиях Центральная Рада пыталась торжественно отпраздновать опубликование 4-го универсала в то время, как советские войска прошли уже больше половины пути между Полтавой и Киевом. Была взята Гребенка, и на территории всей прочей Украины уже кипела гражданская война, в которой украинская власть терпит поражение за поражением. 10-го января в городе была об'явлена забастовка, а арсенальцы, запершись в арсенале, вооружились и начали восстание против генерального сокретариата и Центральной Рады. Я припоминаю то настроение, которое сложилось к этому сроку у украинских социал-демократов. Лидер украинской фракции в Центральной Раде, Ткаченко, раз'яренный упорством и организованностью пролетариата, вообще, и арсенальцев, в частности, сказал: „в три дня мы расколотим это проклятое гнездо, мы не остановимся перед тем, чтобы сжечь все, что окружает арсенал, но это восстание мы победим и раздавим беспощадно". С этого дня началась беспрерывная героическая вооруженная борьба на улицах Киева, которую вели рабочие арсенала, завода Гретера и целого ряда других предприятий против украинских воинских частей.

Бунд был нейтрален, как и всегда. Недостаточно контрреволюционно настроенные, чтобы, как меньшевики, призывать рабочих помогать генеральному секретариату задушить рабочую забастовку, он был недостаточно революционен для того, чтобы призывать своих рабочих к помощи забастовавшим рабочим. Поэтому он присоединился к лозунгу, который был выброшен интернационалистами-меньшевиками — „звать к прекращению забастовки", не определяя своего отношения к большевикам, для которых забастовка была проявлением определенной линии, направленной к уничтожению власти украинцев-шовинистов.

Особенностью позиции Бунда на этот раз явилось, однако, то, что Бунд уже не единодушен. Между областным

комитетом и киевским городским комитетом назревает раскол на почве их различного отношения к вооруженному восстанию арсенальцев и гретеровцев. Киевский комитет целиком за рабочих, он нарушает партийную дисциплину и в своем особом постановлении признает правильным призыв к забастовке. Но и внутри самого областного комитета Бунда не было единой линии. В составе его членов были и такие, которые находили необходимым сражаться на стороне Центральной Рады против арсенальцев, как и другие, которые находили необходимым поддержать Киевский Комитет и большевиков. В Бунде, действительно, жило две души. Выразителем одной был рабочий, член Киевского Комитета Степа, выразителем другой — работница Сарра Фукс [1]). Обатэти крыла страстно защищали свои позиции, угрожая открытым расколом в Бунде. Но пока шли словесные споры в рядах меньшевистских группировок, на улицах Киева разгоралась вооруженная борьба. Несмотря на то, что у украинцев был огромный военный перевес, впродолжение 15 дней арсенальцы, гретеровцы и рабочие других предприятий упорно держались на баррикадах и в окопах. В то же время у самых подходов к Киеву шли военные действия, руководимые на стороне большевиков штабами Ремнева и Муравьева. Впродолжении 16-ти дней Киев подвергался перестрелке. Наконец, 25-го января воинские части Украинской Рады бежали, и советская власть захватила последний оплот Рады — Киев.

Тяжелой кровопролитной борьбой рабочие и крестьяне Украины завоевали свободу и власть. В день похорон жертв этой борьбы в Киеве опустили в братскую могилу до 750 борцов, и в их числе было много лучших рабочих. Пролетариат был достаточно силен, чтобы выбросить из пределов Украины прогнившую националистическую кулацкую власть, которая потеряла мощь с того момента, как в селе началось расслоение, и беднота, раскусив корни украинской политики Центральной Рады, начала организовываться против этой власти. Но тогда с классической отчетливостью против советской

[1]) Оба погибли: т. Степа умер от сыпного тифа на востоке, куда был командирован из Москвы органами РКП. Сарра Фукс покончила самоубийством, когда киевская организация Бунда в своем большинстве вступила в коммунистическую партию.

рабоче-крестьянской власти выступили более мощные силы контр-революции, силы, которые внешне были вызваны Петлюрой и Винниченко, но которые политически и в классовом отношении были неразрывно связаны с Центральной Украинской Радой,— австро-германские войска. Это австро-германский империализм, уже через месяц после победы советской власти на Украине, послал свои полки для того, чтобы свергнуть ненавистную рабоче-крестьянскую власть, которая закрыла перед ним двери „хлебной фабрики" и лишила его надежд вести на убой миллионы русских солдат за счет украинского крестьянина-бедняка и рабочего. Это австро-германский империализм послал свои полки на Украину для того, чтобы задушить рабоче-крестьянскую власть и снова поставить ставку на осужденных пролетарской революцией деятелей Украинской Центральной Рады.

Классовая борьба между трудящимися и капиталистами на Украине развернулась только к концу февраля, и в течение тех месяцев, когда над порабощенной Украиной висел штык австро-германского империализма, сопровождаемый Петлюрой или Скоропадским,— это безразлично — классовая борьба разгоралась со дня на день все сильнее с тем, чтобы, после многомесячной жесточайшей войны с империалистами всего мира, выдержав наиболее грозное испытание, кровью спаять единство рабоче-крестьянской советской власти на территории свободной Украинской Советской Социалистической Республики, — союзницы и федеративной части более великого Союза С. С. Р.

А. Золотарев

Эпизод борьбы

В резолюции второго конгресса Коминтерна имеются следующие слова: „До тех пор, пока государственная власть не завоевана пролетариатом, до тех пор, пока пролетариат раз навсегда не упрочил своего господства и не гарантировал его от буржуазной реставрации, — до тех пор Коммунистическая партия, по правилу, будет иметь в своих организованных рядах лишь меньшинство рабочих...

Лишь после того, как пролетарская диктатура лишит буржуазию таких могучих орудий воздействия, как пресса, школа, парламент, церковь, аппарат управления и т. п., лишь после того, как окончательное поражение буржуазного строя станет очевидным для всех, — в ряды Коммунистической партии начнут входить все, или почти все рабочие".

Эти слова с поразительной точностью оправдываются на наших глазах, доказывая лишний раз, насколько правильным методом рассуждений идет ленинская партия.

Вот уже семь лет прошло со времени победы пролетариата. Многие отдельные моменты забыты. Для большинства молодежи слова резолюции, основанные на жестокой действительности недавнего нашего прошлого, покажутся отвлеченной теорией, ибо в нашей стране буржуазия лишена абсолютного большинства орудий воздействия, вести борьбу стало относительно легче. Мы гигантскими шагами двигаемся по пути, когда „все, или почти все рабочие" станут членами нашей партии. Но если буржуазия не имеет парламента, не имеет своих газет, это не значит, что она не пытается дезорганизовать психологическое об'единение пролетариата.

До сих пор на наш книжный рынок выбрасывается 30 процентов всей продукции частными издательствами, отнюдь не расположенными пропагандировать правильного революционного миросозерцания. Поэтому выработка правильной идеологии, революционной пролетарской идеологии, составляет дело огромной важности.

Пока эти могущественные орудия воздействия находились в руках буржуазии и ее приказчиков, трудно было пролетариату овладевать верными понятиями, трудно было приобретать навыки, тенденции, которые толкали бы в направлении выполнения пролетариатом его исторической миссии. Теперь положение наше крепче; теперь мы можем быстрее овладевать нужными нам навыками. Предыдущие победы обеспечили нам лучшую обстановку.

Но еще совсем недавно передовым отрядам пролетариата пришлось преодолеть жесточайшее сопротивление на этом участке, побороть многолетние традиции и проложить новые пути. Чтобы не сойти с этих путей, не заблудиться на новой дороге, необходимо воскрешать в памяти прошлую борьбу и проверять свои шаги теперь.

Идеология не является механическим отражением происходящих событий. Идеология вырабатывается в процессе происходящих событий, при активном участии в этих событиях.

Сейчас борьба ведется особенно жестоко именно на идеологическом фронте. Мы и тут продолжаем одерживать незаметно, но неуклонно победу за победой. Но требуется еще много напряжения и активности.

Нижний - Новгород и Нижегородский край — с большими литературными традициями. Много крупных имен связано с ним. И имя Тараса Шевченко, отбывавшего там ссылку, и Мельникова (Печерского), и Короленко, и Горького и многих других. Выработались не только тенденции верить печатному слову, но с печатным словом неразрывно связывалась революционная деятельность, направленная против самодержавия, против абсолютизма.

Пять газет, выходивших в период существования временного правительства, находили себе читателей, количество которых измерялось десятками тысяч.

Рабочие районы — Сормово и Канавино — наполнялись этими газетами, воздействуя на психологию рабочих масс.

Попытки большевиков в дореволюционное время создать свой орган терпели неудачу, полиция успевала разгромить газету по выходе первых номеров. Наконец, в семнадцатом году удалось наладить выпуск маленькой газеты „Интернационал", которая, однако, не могла всерьез конкурировать с обеспеченными средствами и читателями старыми газетами. Одна из старых газет к тому же связана была с хорошими идейными делами, так что уклоны ее против рабочего класса было трудно подметить. Ей верили и ее читали большинство рабочих. Называлась газета „Нижегородский Листок", вокруг которой всегда группировались революционные силы. Достаточно указать, что все высылаемые в Нижний политические находили в ней приют и работу. Секретарем ее был одно время брат известного народовольца Гриневицкого, эсдек по убеждению. Впоследствии его сменил на правах редактора участник процесса 193-х Дробыш-Дробышевский. В период первой революции в „Н. Л." сотрудничал Пл. Лебедев (Керженцев), в 1914 г. работал будущий нарком К. И. Ландер, словом за газетой хранились хорошие традиции. На эти традиции, как на огонек, тянулись очень, очень многие, мало замечая, как правели и клонились к либерализму и Гриневицкий и Дробышевский.

Ближе к октябрьской революции разница между традицией и действительной революционностью стала обнаруживаться, пока не образовалась настоящая пропасть и пока не обнаружилась вся механика тонкого, умелого воздействия на массы через печатное слово, в интересах кадетской партии.

Типография, в которой печаталась газета, отличалась сознательностью. Беспрерывно, со времени первой революции, существовал большевистский кружок, причем метранпаж Н. Н. Кузнецов был членом подпольного большевистского комитета. Набирая и верстая газету, мы чувствовали, что газета упорно избегает помещения статей левых депутатов в государственной думе. Мы потребовали, чтобы газета соблюдала нейтральность, и к нашему удивлению наше указание было принято во внимание. Отчеты стали полнее. Достаточно об'ективно держалась газета и в первые месяцы 17 года.

Больше того, в типографии неуклонно поддерживались большинством работников газеты прежние хорошие традиции, с рабочими велись откровенные беседы, отнюдь не дававшие повода к разрыву отношений.

Правда, в среде самих рабочих велись зачастую ожесточенные споры, часть рабочих открыто примыкала к меньшевикам, и мне и Кузнецову приходилось немало доказывать ошибочность их точки зрения. Уже в 17 г. нам удалось провести нечто в роде рабочего контроля над газетой, это было до июльских событий, причем со стороны редакции входил в состав правления союза рабочих критик В. Е. Чещихин (Ветринский). Но уже вскоре на почве этого контроля завязалась открытая схватка на страницах газеты между мной и редактором другой большой газеты, обслуживавшей купечество. Последний выступил с резкими возражениями против контроля, чему, как я убедился, сочувствовало большинство редакции „Н. Л.".

И тут зародилась у нас мысль захватить газету в свои руки.

События назревали необычайно быстро. Едва захватив административный аппарат, создали свою большую газету „Красное Знамя", которую пришлось вести четырем - пяти товарищам. Наиболее активными работниками были: т.т. Блюм, Федоровский, Сергушев, Сибиряков, Любецкий, Сергей Малашкин. Остальные товарищи, могущие писать, были заняты административной работой и лишь изредка давали маленькие заметки, между тем теперь уже против нас открыто выступили все газеты и наиболее активно именно „Нижегородский Листок", который, совместно с эсеровским и меньшевистским органами, стал вести борьбу за сохранение пролетарских рядов своих читателей.

Это была подлинная борьба за идеологию, причем никогда еще наши товарищи не подвергались такому заушению, как именно в этот период.

Не было дня, когда бы любой из наших товарищей не подвергался остракизму со стороны всей прессы.

Столь уважаемые товарищи, как Семашко и Мицкевич, изображались Дробышевским не иначе, как в виде умалишенных. Вся власть рисовалась газетами не иначе, как собрание Угрюм - Бурчеевых.

И тем не менее, нам удалось завоевать большую часть рабочих районов, ставших нашими читателями. „Красное Знамя“ приобрело 10 тысяч читателей, почти исключительно в Сормове и Канавине, где уже начали вербоваться рабочие корреспонденты. Но таков уже закон диалектики: буржуазная пресса стала призывать к открытому сопротивлению установившейся диктатуре пролетариата.

Весь яд, каким обладали журналисты противоположного лагеря, был вылит на нашу голову. Понадобилось всего два месяца, чтобы резкое размежевание произошло до очевидной ясности, когда буржуазный и буржуазно-соглашательский лагерь стали заниматься открытой фальсификацией документов, фальсификацией, понятной и для непосвященного.

Мы приступили к конфискации газет.

Подготовленные рабочие типографии „Ниж. Листка“ очень облегчили нам эту задачу. Первым был конфискован именно, „Н. Л.“, а за ним вскоре и остальные.

Понадобилось около года, чтобы почувствовать, как, имея столь мощное орудие воздействия, мы стали захватывать и те слои, которые дольше всего жили под чарами традиций и старых верований.

Рабочие быстро освоились с новым положением, часто меняя верстатку на перо и перо на верстатку. Появились попутчики, газета встала на ноги.

Прошло семь лет. Многие успокоились. Воевать больше не из-за чего. А между тем на идеологическом фронте далеко не все обстоит так, как должно бы обстоять. Правда, за семь лет у нас появилась армия рабкоров, крестьков и т. д., нет ни одной буржуазной газеты, но есть 30 процентов всей продукции на книжном рынке, чуждой нам по идеологии почти на все 100 процентов. Есть принципиальный спор в наших рядах, должна ли быть пролетарская литература, или литература внеклассовая.

Есть наконец, некоторое влияние попутчиков, одолевающее влияние революционно-пролетарское.

Приведенный пример из недавнего прошлого показывает, как трудно было распознать, где кончается друг и начинается враг, как живучи традиции, навыки, прививаемые почти незаметно — через печатное слово.

Что же, может быть, „собрать все книги да и сжечь“?

Нет. Мы не привыкли вместе с водой из ванны выплескивать и ребенка. Но в эпоху борьбы, пока мы не одолели врага на все сто процентов, нам надо иметь пролетарскую идеологию, революционную идеологию, которая может быть выработана при наличии пролетарской, революционно-пролетарской литературы. Вся литература должна быть подчинена одной основной задаче — победе пролетариата, задаче выработки правильной революционно-пролетарской идеологии.

Но от читателя-пролетария требуется уменье, навык подходить к книге и, вообще, печатному слову критически, уметь нутром чувствовать, где правильный, хотя и трудный путь, а где на пути расставлены тенета. Овладеть, как можно скорее, всеми навыками, выработать тенденции, которые толкали бы на правильный путь революционно-пролетарской идеологии.

Немногие благодарят за резко опровергнутые традиции и навыки. К установившемуся, к старому привыкают. Оно изведано. Новое страшно, его не знают, его боятся. Это особенно характерно для отдельных групп и категорий людей из прослоечных элементов.

Так как конфискация „Н. Л.“ произошла в 5 часов вечера, а на утро газета вышла, как орган Совета, мы об'явили всем подписчикам „Н. Л.“, что не собираемся эксплоатировать их и, так как они внесли подписную плату прежней администрации газеты, мы обязались каждому подписчику до конца срока высылать новый орган Совета.

Увы, кадр читателей „Н. Л.“ не принял нашего благородного порыва. Было напечатано 12 тысяч экземпляров по числу подписчиков газеты, а к полудню добрая половина благочестивых адвокатов, агрономов, учителей, домовладельцев, служащих и прочих категорий подписчиков возвратили разосланные им номера газеты — с похабными надписями и ругательствами.

В „Кооперативном Вестнике“ была напечатана статья, в которой открыто говорилось, что „мы сохраним наше знамя на груди до лучших дней“.

Мы не стали тратить бумагу. Тираж был сокращен до 6 тысяч.

А через полгода наша новая газета имела тираж 20 тысяч экземпляров.

„Красное Знамя" было превращено в орган губкома партии, а бывший „Ниж. Листок" стал оффициальным органом Совета.

Последний бой пришлось выдержать в союзе печатников, на который, после конфискации „Н. Л.", собрался весь полиграфический пролетариат. Наши „друзья" — меньшевики и эсеры—мобилизовали весь свой оставшийся цвет для защиты „попранных" прав.

Председательствовавший на собрании, только что распропагандированный нами молодой коммунист, наборщик Емельянов чувствовал себя весьма тяжело.

Ему предстояло сдержать несдерживаемые страсти и доказать, что он не даром работал несколько лет в самой революционной типографии „Н. Л.".

В то время, как эсеры и меньшевики старались ввести вопрос в область принципа, рабочую массу интересовала забота: будет ли работа?

И после горячих дебатов подавляющее большинство рабочих решило: правильно поступили, что конфисковали, надо лишь непременно выпускать все газеты, доколе не удастся загрузить все типографии другой работой. Сохранить хозяйство, не допустить разрухи — это желание сквозило в речах рабочих, и это чутье рабочий класс неуклонно носит в самом себе.

Откуда оно взялось? От наблюдения над хозяйничанием частных предпринимателей, от анархии и расхищений, уже тогда видимых рабочими.

И любопытно отметить, что впоследствии, по инициативе самих рабочих, все типографии были сконцентрированы в одну фабрику, и ныне нижегородская полиграфпромышленность едва ли не на первом месте среди всех губерний РСФСР.

Несмотря на то, что литературных сил у нас не было, вторую газету, обслуживавшую купечество („Волгарь"), мы, конфисковав, превратили в вечернюю газету, тем самым выполнив волю рабочих. Три газеты наши имели уже общий тираж около 30 тысяч.

Что касается буржуазных подголосков, эсеровской и меньшевистской газет. то они просто задохнулись от злобы, и нам пришлось лишь вбить осиновый кол в их могилу.

Активисты их бросились поднимать восстания крестьян, или стали помогать саботировать новую власть, но твердая рука карательных органов пролетариата скоро ликвидировала эту затею „друзей народа".

Год сменяется годом. Опиум, яд буржуазной лжи не усыпил, не отравил рабочего класса. Наши успехи налицо. Бороться стало легче. Но наши победы будут еще успешнее, чем быстрее мы овладеем подлинно революционно-пролетарской идеологией.

А. С.

Первые дни в Смольном

Вот и седьмая годовщина Великой Октябрьской Революции, первая годовщина без Владимира Ильича. Дорогой Ильич! Как часто приходится вспоминать его, как часто ловишь себя на чувстве щемящей боли, вдруг снова охватывающем при виде его портрета, статьи, того или иного события.

И в 7-ю годовщину Октября — первою мыслью будет у всех: без Ильича. И моя мысль естественно влечет к воспоминаниям об Ильиче в Смольном...

До Октября мне редко приходилось бывать в Смольном, — центре меньшевистско-эсеровского Петербургского Совета. За последние, перед переворотом, дни, с укреплением там большевистской фракции, приходилось быть раз, другой.

Но как только приказами Военно-Революционного Комитета был брошен вызов правительству Керенского, и пошли слухи, что разводят мосты, не помню уж, как я со своего красного Васильевского Острова попала в Смольный, как и многие из нас, и оставалась там все первые месяцы, почти вплоть до эвакуации комиссариатов в Москву.

Первые дни мы оставались в Смольном почти безвыходно, каждый на том деле, которое выпало ему на долю, иногда даже случайно. Мне прежде всего пришлось принять участие в организации бюро пропусков и справок в Смольном.

Тысячи людей потянулись туда, как к штабу революций, сердцу ее, за директивами, для связи, для охраны и защиты, по тысяче дел в Военно-Революционный Комитет, там заседавший, в Ц. К. партии, к Ленину.

К этим тысячным „своим“ присоединялся поток разных людей по делам в бывший Смольный — Петербургский Совет Рабочих и Солдатских Депутатов, развернувший там все свои отделы, теперь брошенные разбежавшимися сотрудниками. Этот поток надо было изучить, урегулировать, направить, снабдить документами. Днем и ночью функционировало бюро пропусков в проходной комнате с непрестанным сквозняком.

Мы быстро организовываем систему пропусков, изучаем бесконечные корридоры и комнаты Смольного, каждый день заполняющиеся новыми учреждениями, расставляем дежурных на площадках, сговариваемся с тов. Гусевым, управляющим делами Военно-Революционного Комитета.

В первые дни приходится направлять больше в комнату Военно-Революционного Комитета, но дальше дела усложняются, появляется все больше настойчивых требований видеть тов. Ленина, непременно, лично Ленина.

Убеждаем, уговариваем, ругаемся. Понимаем, что от нашей бдительности многое зависит, что малейшая наша ошибка грозит бедой.

Припоминаю один из первых дней в Смольном. Керенский наступает, Гатчина в руках врагов... Мне передают: тов. Ленин просит собрать лучших наших агитаторов. Быстро собираем их по Смольному. Вечер. Полутемная комната без мебели.

Один стол, вокруг которого столпилось полдюжины товарищей.

Приходит Владимир Ильич.

Он спокоен и, по обыкновению, приветливо улыбается.

Он излагает положение дела.

До сих пор против Керенского шли, главным образом, наши рабочие, необученные полки. К регулярным войскам мы еще не обращались. Рабочие проявляют небывалое геройство, творят чудеса,— но против регулярных войск этого мало; у нас там некоторая заминка, неудача. Надо рассыпаться по полкам, призвать их выступить, убедить, поднять, воодушевить и повести против Керенского...

Он говорит так спокойно, что никто не чувствует степени опасности момента.

Через час наши агитаторы были в казармах, а через пару дней Керенский и его наступление были ликвидированы.

Так работал у руля наш Ильич, не спал, потому что было некогда, дальше не мог спать от возбуждения и переутомления. Только Владимир Ильич мог вынести такую работу. Он всюду в центре: в ЦК, в Совнаркоме, в Военном Штабе... Выступления, переговоры, декреты. Часто, один против всех, убеждает своей непоколебимой, железной логикой и волей. Он там, в глубине, и руководит всеми, часто даже в деталях.

Вокруг него мы сетью связываем Смольный с районами. Работа кипит. В нашей дежурной, на простых жестких скамьях, уж целый штат добровольцев. Целый хвост вокруг каждого; внимательно проверяем документы. Теснота, многие должны ждать за дверью в холодном вестибюле. Кое-где окно разбито, дверь не закрывается. Холодно, сквозит. Публика ропщет на очереди. Часто задерживаются свои, идущие на заседания, по делам, так как наши новички многих не знают. Они пробиваются ко мне, при протесте публики, вне очереди.

Бывают курьезы.

Помню, несколько уж позже, когда пропускали часовые, через толпу пробивается А. В. Луначарский и Дыбенко. Дыбенко в лицо я не знала, а Анатолия Васильевича заметила и кричу, чтоб его пропустили без формальностей. Его пропускают, а Дыбенко задерживают. „Это же Народный Комиссар Дыбенко", говорит с улыбкой Анатолий Васильевич. „Его все теперь должны знать". Часовые конфузливо пропускают.

По ночам, когда поток стихает, обсуждаем виды различных пропусков, способы контроля, изучения Смольного, размещения его новых учреждений. Наладив дежурство внизу, иду в верхние этажи, где работает тов. Бокий, и дежурят у телефона присланные из районов для связи рабочие.

Захожу в комнату, смежную с перманентно работающим Военно-Революционным Комитетом.

Тов. Анцелёвич спрашивает, могу ли я об'ехать районные советы для выяснения положения на местах, инструктирования и более живой связи. Конечно, могу. Дают какой-то военный автомобиль, перевозивший раненых, двое товарищей едут куда-то по пути. Не знаю, как приспособлялись раненые, но нас трясет и бросает из стороны в сторону на деревянных скамьях.

Ночь. Выезжаем по прямой улице от Смольного. Вот выстрелы, блеснул огонек. Поворачиваем в другую улицу.

В Совете Городского Района на Миллионной нет дежурства — ничего не добились от швейцара. Не наш Совет, видно, не рабочий. На Литейном все в порядке, выслушиваю доклад, ряд вопросов, которые надо разрешить в Смольном и еду дальше.

На Петербургской стороне в Совете жизнь кипит. Только председатель Совета, пожилой рабочий-большевик, не спавший уж несколько ночей, уснул, свернувшись на пальто. Не хочется будить, но нет никого, чтоб дать полную информацию. Колеблемся. Вдруг вбегает несколько товарищей. Тревога. То юнкера захватили броневики в Михайловском манеже; торопят снаряжать отряд на выручку. Точных данных нет, что и как случилось. Моментально будят председателя, дежурившие в Совете быстро разбирают оружие, патроны.

Восторгаюсь порядком и быстротой сборов, без малейшей паники. Нечего расспрашивать о положении дела—видно на деле, что тут свои и на чеку. Наскоро передаю важнейшие инструкции. Прошу держать связь со Смольным, почаще звонить.

Еду на Выборгскую сторону. Это оплот большевизма. Все на местах, военный бивуак, а не Совет. Встречает нас тов. Женя. Расказывают, сколько и как снарядили рабочих отрядов на фронт против Керенского. О выступлении юнкеров не слыхали. Через несколько минут эта весть, привезенная нами, подтверждается требованием поддержки отрядом. Отряд также быстро снаряжается. Еду в Нарвский Совет. Тут ничего не знают. Пытаемся звонить в Смольный. На телефонной станции не все благополучно, что-то странно отвечают.

„Только что я звонил, телефон дойствовал, теперь не отвечают“,—говорит председатель Совета—сказали: „Скоро все будет хорошо“.

То уж юнкера захватили телефонную станцию.

Уж светает. Холодно. Мы промерзли. Ехать за Невскую Заставу — шоффер говорит, что не хватит бензину. Скорее в Смольный.

В Военно-Революционном Комитете некогда расспрашивать. Но скоро сообщаю о выступлении. Там уж знают,

приняты меры. Иду писать доклад об об'езде, о тех вопросах, которые требуют разрешения на местах. Но теперь не до того.

В следующие дни к потоку людей в Смольный присоединились родственники юнкеров, справляющиеся о них, потом сами выпущенные юнкера, с разными просьбами и претензиями...

Дальше мелькают заседания с'езда Советов, Исполнительного Комитета, под председательством неутомимого тов. Свердлова. Переговоры с Викжелем, левыми с.-р., Совнарком, партийные совещания с их колебаниями и т. д.

В это время я мало видела Владимира Ильича, но позже приходилось частенько видеть его, когда Совнаркому отвели помещение в левом крыле Смольного, отгородив его досчатой перегородкой. Туда без особых пропусков не впускали.

Тут же отвели комнату для работы и А. В. Луначарскому, с которым я была ближайшим образом связана по работе в Государственной Комиссии по просвещению. Владимир Ильич выходил иногда в канцелярию Совнаркома, или в корридор. Он всегда узнавал и кланялся, приветливо улыбаясь. Разговаривать было некогда. Тут же был его кабинет, охраняемый рабочими. В том же крыле была и его квартира, тщательно скрываемая от публики.

Она сообщалась с помещением Совнаркома лестницей и особым лифтом. Мне несколько раз приходилось бывать там, и, зная расположение квартиры, можно было проникнуть и нижним корридором Смольного. Туда без особых пропусков не пропускали, а без надобности их не давали. Однажды, узнав, что Надежда Константиновна больна, я зашла к ней. Она лежала одна, с сильной головной болью, не подумав даже о том, чтоб достать лекарства.

Она, как и В. И., никогда не думала о себе, и не только не окружала себя заботящимися товарищами, как делают другие, но отвергала их услуги, уверяя, что ей ничего не нужно.

Квартирка, в которой они жили тогда, состояла из довольно низкой комнаты с перегородкой, за которой едва помещались две кровати. — „Ведь, здесь воздуха нет: как не болеть голове... Неужели не могли дать вам лучшей комнаты?“ — протестовала я, так как низкий потолок давил. Надежда Константиновна только улыбнулась.

Она уверяет, что ей уже легче, и заставляет пить чай с каменными баранками, принесенными кем-то из товарищей в пакетике, так как хлеба не было. Ильич, как и все в то время, порядочно голодал. Уже и тогда В. И. чувствовал себя плохо, не мог спать. Целый день он работал, а поздно вечером, часов в 10, начинались заседания Совнаркома.

По всем бесчисленным комнатам Смольного кипела работа.

Там редакция, тут штаб, где толпятся военные, проводят телефоны, совещаются, принимают и посылают курьеров; тут экспедиция, рассылающая тысячи газет, листков и т. п. В другом конце — кабинет т. Троцкого.

Если задержишься работой, не попадешь на последний трамвай (я жила на Васильевском острове, куда пешком из Смольного не дойдешь), бродишь по Смольному, чтоб найти место для ночлега.

Это не легко: остающихся ночевать много. Не только всевозможные диваны и скамьи заняты, но и малейший выступ, ступени на полу — все занято спящими.

Кабинет Луначарского, куда мы ежедневно вечером возвращались из Комиссариата с Анатолием Васильевичем и машинисткой, имел кушетку и еще кое-какую мебель и служил одним из лучших ночных убежищ.

Тут же рядом в комнате — пулемет и дежурный при нем. Разговоришься иногда. С другой стороны, через переднюю,— столовая, где иногда можно получить чай с бутербродом, где за стаканом чаю несколько минут обмениваются новостями и мыслями и снова бегут к своим делам.

Тут я познакомилась с В. П. Затонским, делегированным в Брест, но, по совету т. Ленина, оставшимся в Петербурге.

Употребляю усилия, чтобы раздобыть пару бутербродов для А. В. Луначарского и унести в свою комнату, где А. В. то диктует, то принимает по разным делам и вопросам. Еще задолго до прихода его ищут, осаждают, но мы никогда точно не знаем, когда он придет. Помню весь ужас с нападением на винные погреба Зимнего Дворца, находящегося в его ведении.

А вот он говорит с солдатом, делегированным из Украины с требованием выделить из войск и флота украинцев и послать на Украину. Помню, как дипломатично убеждал

его Анатолий Васильевич, кажется, в невозможности это сделать, обещал передать Украине какую-то гетманскую булаву и другие украинские реликвии, хранящиеся в Петербурге. Видно было, что солдат-делегат не убежден, но не может возразить, а А. В. ласково говорит ему: „Так вот, так и передайте", и отделывается от него...

„Большое я только что дело сделал,—говорит он нам,—Совнарком поручил мне уладить трудный вопрос" (он еще вне кабинета где-то начал эту беседу). „Теперь надо выполнить другое поручение Совнаркома—написать воззвание..."

Совнарком заседал несколько дальше столовой. Целый день, не выходя, работал Владимир Ильич, направляя, руководя, вдохновляя. И часто, лежа без сна, за полночь, на двух стульях или на кушетке в столовой, я думаю о нем, о его гении, его способности видеть далеко-далеко, и, обобщая, делать безошибочные выводы. И мне вспоминался один небольшой факт, в котором, как в капле воды, отражалось его уменье в крупном и мелком схватить моментально сущность и каждого поставить на соответственное место, дать задание, использовать его.

Это относится ко времени до 3—5 июля. Я пришла по какому-то делу к Марии Ильинишне, в квартиру Анны Ильинишны Елизаровой на Широкой улице, где жил В. И. с Надеждой Константиновной. Вся семья пила чай. Пришел В. И. и моментально начал расспрашивать меня о положении дел на Васильевском острове, где я работала. Быстро задавая вопросы, перебивая, когда я старалась подробнее рассказать то, что он уже понял, схватил из незаконченной фразы,—он в короткое время уж представил и оценил картину борьбы большевиков с меньшевиками, происходившую тогда на Васильевском острове (да и везде) в форме борьбы за перевыборы Районного Совета.

Как известно, в начале февральской революции большинство в Советах Рабочих и Крестьянских Депутатов попало в руки с.-р. и меньшевиков.

Особенно сильно это было выражено в Петербургском Совете.

В районных Советах это большинство было слабее и вскоре в низах оно стало переходить на сторону большевиков.

Мы, большевики, видя это, старались добиться перевыборов в Советы. На Васильевском острове, при помощи возникших тогда фабзавкомов, мы провели и по предварительному подсчету полагали, что будем иметь большинство в Совете и проведем свой Исполком.

Меньшевики и с.-р. тоже видели это, и, чтоб не дать нам захватить Исполком, придумали получить большинство, путем введения полноправными членами в Районный Совет меньшевиков-делегатов Васильевского острова в Петербургском Совете, несмотря на то, что эти последние до сих пор никакого участия в Районном Совете не принимали и членами его не считались. Несколько пленумов Районного Совета они сорвали демагогическим возгласом: „Кто за Совет — идем за нами", чем увели несознательную группу солдат. Очень интересно было и то, что меньшевики в борьбе против нас соединились с с.-р., и те обещали им известное число мест в Исполкоме, в случае победы.

С.-р., которые имели больше влияния, чем меньшевики, обещались провести видных лидеров-ликвидаторов.

В. И. сразу понял, как важно обнародовать эти факты, вскрыть их сущность и значение, и настойчиво предложил мне тут же сесть и написать об этом в „Правду". Его предложение, благодаря влиянию его личности, вызывающей желание сделать все, что он скажет, сразу убило во мне колебание и недоверие к моим писательским способностям. Я села и тут же описала всю нашу Васильеостровскую борьбу.

На другой день в „Правде" появилась эта статейка, заглавие которой дал сам Ильич: „Вот где настоящие раскольники", вскрыв этими несколькими словами сущность и значение сообщаемых фактов.

Евгения Адамович

Первая годовщина Октября во Франции

Раскаты великого Октября во Франции были заглушены пушечной канонадой на Марне, у Вердена и Арраса. Страна страдала под гнетом военного сапога. Все, что было работоспособно и способно носить оружие, было мобилизовано государством. Франция была огромнейшей казармой, хозяином которой являлся капрал. Все было подведено под военный устав. Каждый рабочий милитаризирован, у каждого была военная книжка — матрикул, в которой отмечались, как на военной службе, его успехи, и, в зависимости от этих отметок, улучшалось или ухудшалось положение такого работника.

Конец 1917 г. и почти большая половина 1918 г. во Франции прошли под знаком величайшего напряжения. Германские армии бешено кидались на франко-англо-американскую армию, силясь ее разбить ужасными лобовыми атаками. И, естественно, что при таком положении вещей трудно было бы говорить о каком-либо движении в рабочих массах. Но ко всему этому мы должны еще прибавить другое очень важное обстоятельство. Во Франции когда-то, как и в царской России, не делалось различия между квалифицированными рабочими и, вообще, призываемыми в армию. Поэтому, когда выявилось, что война принимает затяжной характер, и когда вопрос о победе или поражении стал вопросом технической мощности того или иного государства, перед французским правительством встала задача о реорганизации всей своей внутренней промышленности. Правда,

почти на 60% все снаряжение доставлялось либо из Англии, либо из Америки, но французская буржуазия великолепно понимала, что, если она не желает попасть в полную зависимость к англо-американскому капиталу, ей необходимо создать прочный индустриальный организм внутри самой страны.

И 1915, 1916 г. г. отмечаются в жизни страны, как период величайшей индустриальной лихорадки. Заводы и заводики вырастали буквально, как грибы после дождя. Буржуазия, воспользовавшись этим обстоятельством, очень умело использует „горячечную" кон'юнктуру в своих интересах. Все колоссальнейшие займы, полученные в это время французским правительством в Америке, идут, исключительно, на оборудование и создание новых военных предприятий. Соответственно с этим ростом военной промышленности возрастает невероятное требование на рабочие руки. Первое, что делает правительство для удовлетворения этой потребности — это массовая демобилизация квалифицированных рабочих. Но их количество, конечно, было недостаточно. Пришлось прибегнуть к массовой отправке работоспособных людей на заводы и фабрики, к привлечению женщин, подростков. В среднем, на французских заводах к началу 1918 г. между действительно квалифицированными рабочими и „военными" рабочими соотношение было, как 1:3. Вот это-то обстоятельство безусловно играло немаловажную роль в положении и выявлении рабочего класса Франции. В то время, как квалифицированные рабочие в большинстве своем, т.-е. на 90%, прошли все школу профессиональной борьбы и профессиональной организации, которая не могла не оставить следа на их психике, на их понимании своего положения и своих классовых выгод,— военные рабочие: частью скрывавшиеся тыловики, частью женщины и подростки, конечно, не имели ни желания, ни охоты к какой-либо борьбе и этим вносили величайшую дезорганизацию в рабочие массы. Теперь, если ко всему этому мы прибавим то, что социалистические партии и профорганизации во время войны оказались одними из наиболее патриотически настроенных элементов страны, то картина представится вполне ясной. Рабочее движение об'ективно и суб'ективно было поставлено в найтягчайшие условия.

К началу 1918 г. настроение в рабочих массах стало несколько изменяться. Немалую роль в этом сыграли не

только усталость от войны, колоссальный рост дороговизны жизни, недостаток в предметах первой необходимости, но также и то обстоятельство, что, в связи с начинавшимся недовольством страны, усилились репрессии со стороны правительства. Так, рабочая масса, загнанная на фабрики и заводы и державшаяся там на положении военнообязанных, была буквально согнута в бараний рог тем, что владельцам предприятий и контр-метрам было предоставлено право дисциплинарных наказаний. По представлению заводской администрации любого рабочего могли отправить на фронт. И, как пример, укажем, что в Париже с двух огромнейших аэропланных заводов в 1918 г. было отправлено таким образом более 600 чел. на фронт, причем все эти „ссыльные" попали, исключительно, в наиболее опасные участки, возврата откуда почти не было никакого. Кроме того, в порядке военной дисциплины, началось перебрасывание рабочих с одной фабрики на другую. Брали наиболее будирующий элемент из Парижа, например, высылали в какой-нибудь захолустный городок, вроде Дижона, а рабочих Дижона перебрасывали в Париж. Это имело одну свою положительную сторону. Парижские рабочие, вообще, являлись наиболее революционно настроенной частью французского пролетариата и, появляясь в каком-нибудь захолустном уголке, они немедленно создавали вокруг себя ячейки недовольных, проявляя и оформляя тем самым общее настроение пролетарских масс. И это протестующее настроение раздражения против невероятной эксплоатации и драконовских цен, настолько оказалось общим по всей стране в середине 1918 г., что его отразили также и профорганизации и социалистическая партия.

В 1918 г., впервые после 4 лет, в июне месяце, собирается в Клермон-Ферране с'езд конфедерации труда. Надо указать, что тогдашнее руководящее большинство, во главе с Жуо, Бидегаре и др., на этом с'езде не появилось. Они уклонились. Но надо полагать, что он все-таки собирался не без тайного благоволения с их стороны. Этим политиканам неудобно было присутствовать на с'езде самим, марать свою репутацию „государственных деятелей".

По мнению некоторых осведомленных товарищей, это был один из обычных ловких маневров Жуо. Ему необходимо было выяснить настроение, и кто именно выделяется из той

массы недовольных, какая собралась на этом с'езде. Ведь, так оно и было. Одной из наиболее ярких фигур Клермон-Ферансκого с'езда оказался шахтер Демуллен, и не прошло с сего знаменитого с'езда 4—5 месяцев, как Демуллен оказался одним из чиновников-секретарей конфедерации труда, а, следовательно, и компаньоном Жуо, в его руководстве пролетарскими массами Франции; и, конечно, с него тотчас сошел революционный пыл. Но как бы там ни было, Клермон-Феранский с'езд значительно оживил профдвижение. В союзах вновь появилось веяние борьбы и желание защищать свои классовые интересы. Широкие рабочие массы стали просыпаться.

В социалистической партии, в связи с под'емом этого настроения, тоже началось брожение, вылившееся в то, что образовалась группа меньшинства „миноритеров". Эта группа возглавлялась Жаном Лонге, Марселем Кашеном, Андриеном Пресманом. Благодаря энергии последнего, в департаменте Виен, в Туре, создается газета „Попюлер". Газета ведет энергичную кампанию в пользу русской революции: немножко замявшись после октября, она все-таки сохраняет довольно таки выраженные симпатии в отношении большевиков и превозносит тов. Ленина, как одного из вождей мирового пролетариата. В начале 1918 г. газета „Попюлер" из Тура переносится в Париж, становится органом выделившейся из социалистической партии группы меньшинства — миноритеров, выходя, как вечерняя газета, а с июля месяца становясь утренней большой газетой. Это время было эпохой наибольшего расцвета и славы газеты.

Одновременно с официальной организацией группы меньшинства, начинает проявлять энергичную деятельность комитет возобновления международных сношений рабочих (комитэ ретаблисман релясьон увриер — интернасьональ). Эта организация была подпольной, во главе ее стоял Лорио, один из участников кентальского с'езда в 1916 г. До 1918 г. названная организация включала в себя всего лишь несколько сотен человек, исключительно сосредоточенных в самом Париже. И только с началом 1918 г. начала разливаться по всей стране, вербуя небольшие группы и отдельных членов. Но влияние „комитета возобновления международных сношений" в рабочей среде было чрезвычайно слабо, в то время,

как миноритерская организация росла с исключительной быстротой и к концу 1918 г. являлась почти господствующей во всей социалистической партии.

Вот в каком положении находилось рабочее движение к концу войны. И в момент заключения перемирия, т.-е. к 9 ноября 1918 г., рабочие организации сменили старый тон своих никчемных разговоров о кооперации на тон довольно резкий, определенно говоривший о наростающей волне движения. Идеи русской революции начали пользоваться исключительной симпатией широких рабочих масс. Быть передовым рабочим и не сочувствовать русской революции считалось буквально преступлением. Даже те военные рабочие, которым в массе чужды были вообще какие-либо идеалы борьбы, и среди них уже большевики или, как их называли во Франции, „большевисты" приобрели если не симпатию, то, во всяком случае, уважение.

Но намечая, так сказать, контуры нароставшего движения, нельзя утверждать, чтобы оно имело какие-нибудь определенные формы, точные организации. Движение было аморфным. Оно лишь только нарастало.

Мне, лично, пришлось самому пережить весь этот период в среде французских рабочих. Я работал в то время в г. Дижоне, на одном из заводов, и стал одним из участников того революционного выступления, каким впервые выявил французский рабочий класс свое отношение к октябрьской революции.

Во главе нашей организации в Дижоне стоял в то время один из крупнейших деятелей французского рабочего движения — Люи Мидоль. Он был в то время секретарем союза железнодорожников (синдика шемино). Мидоль среди городских рабочих не пользовался большой популярностью. Они его почти не знали. Но среди железнодорожников,— а в Дижоне находится главное депо всей этой железной дороги,— он был одним из наиболее уважаемых и авторитетных руководителей профдвижения.

Мое знакомство с ним завязалось за месяц или два до первой годовщины Октябрьской революции. Встретился я с Мидолем случайно на бирже труда. Дружба у нас возникла как-то сразу. Мидоля интересовала наша революция, характер переворота, социальный состав страны, но, к сожалению,

я не всегда мог удовлетворить его любознательность, так как, болтая довольно свободно по-французски, я все-таки не мог подобрать тех необходимых слов, которые дали бы возможность полно обрисовать все происходящее у нас.

Мидоль в то время все внимание и энергию уделял исключительно углублению влияния миноритеров в местной социалистических и профессиональных организациях. Узнав, что я в России входил в социал-демократическую партию, и при том во фракцию большевиков, Мидоль начал приглашать меня на собрания группы. Собрания проходили очень живо, но достаточно нестройно и сумбурно. Не чувствовалось определенной твердой линии поведения, недостаточно резко намечались те вехи, по которым можно было бы притти к определенному революционному выступлению. Все это, все-таки, не помешало нашей группе решиться на действие, которое при тогдашнем положении не могло не посчитаться за действие революционное и, пожалуй, могущее кое-кому из нас принести немало серьезных неприятностей. Но об этом не задумались. Окончание войны, ослабление всех полицейских уз не могло не приободрить нас и не подтолкнуть к проявлению в народе публично своего революционного настроения.

9-го ноября, в день заключения перемирия, утром, я пришел на завод и не успел даже переодеться в рабочий костюм (блэ), как к нам в ателье вошел токарь Симон, один из членов нашей группы миноритеров:

— Курнозоф, ты знаешь,— быстро заговорил он,— арместис (перемирие); а ба (к черту) работу: сейчас гудок, идем!

— Куда, что?— недоумевающе спросил я.

— Не разговаривай, идем на биржу, там будет собрание. Понимаешь?

Пока мы столковались, по всем ателье уже гудело, повсюду радостные лица. Броские, легкие слова. Жмут руки, сыплются остроты. Все как-то стихийно, без всякой команды, гурьбой повалили к воротам. Контр-метр только злобно сплюнул: мол, черт с вами!

Вышли из ворот — та-же картина радости, шумливости. Кое-где успели вывесить флаги. Мальчишки стайками идут по средине улицы, звонко распевая марсельезу. Постепенно

к ним присоединяются взрослые и самочинно, тут же на улице, образуются демонстрации.

Я и Симон отделились от общей группы.

Кто-то окликнул: — Куда?

— На биржу,— отмахнулся спутник.— Нас ждут, ты понимаешь, — обернулся он ко мне,— там наверно все наши.

По дороге встречалась нам та же картина демонстраций и веселья.

На бирже к нашему приходу, действительно, уже собрались все члены группы, сочувствующие. Мидоля не было. Его заменил секретарь местного синдиката железнодорожников Сержант. Краснощекий, здоровый, вечно спорящий со всеми и всех задиравший, Сержант предложил группе обсудить, что делать.

Решили собраться в помещении железнодорожников. Но едва лишь открылось собрание, и Сержант не успел толком изложить свои мысли, как вошел Мидоль. Публика попросила его занять председательское место. И тотчас же завязалась обычная у французов пересыпанная остротами беседа. Обсуждали вопрос, как же должны были действовать мы: принять или не принять участие в общей демонстрации и, вообще, как мы должны реагировать на события. Для нас, большинства, вопрос об участии решался отрицательно. В этом и не было никакого сомнения? Надо было проявить себя отдельно от других общественных классов. Мнения путались, никто ничего дельного предложить не мог.

Всех вывел из затруднения Мидоль:

— Вот, что, товарищи! Я только что получил „Популер". Газета выпускает специальный номер, посвященный русской революции. Номер выйдет 22 ноября. Устроим нашу демонстрацию. Рабочую. Свяжем ее с праздником русских товарищей. Выпишем газету, организуем здесь митинг, — ведь, так только достойно будет нас, как класса!

Предложение Мидоля настолько было логично и настолько очевидно, что без обычного обсуждения все единодушно присоединились к нему.

Тут же была избрана делегация в секретариат биржи, для сговора и выяснения, как это сделать об'единенными силами.

Через полчаса все вопросы были разрешены, осмелевший секретарь биржи сразу согласился с нашим предложением.

Пришел к нам в комнату, „демагогнул“, как бы желая подчеркнуть, что, де, и мы не лыком шиты, и обещал нам все уладить с полицией и префектурой.

С этого же дня началась бешеная агитация среди рабочих на производствах за участие в своей рабочей демонстрации, которую решено было устроить так: впереди рядов нести красное знамя и больше никаких знамен. Красное знамя должно быть с надписью: „Да здравствует республика советов!“.

Но осуществить эту мысль не удалось полностью: префект разрешил демонстрацию лишь с условием, что демонстранты понесут знамена всех союзников. Конечно, когда с ним договаривались, никто и не заикнулся о красном знамени. Иначе он не только не разрешил бы, а, пожалуй, и переарестовал бы всех наших делегатов. Пришлось пойти, с позволения сказать, на компромисс и согласиться на его условие, хотя между собой мы решили устроить демонстрацию по первоначальному плану.

Настало 22-е ноября. С утра вся наша компания торчала на бирже труда. В отдельной комнате Сержант и еще несколько железнодорожников разрисовывали красное знамя.

К началу демонстрации пришел секретарь биржи, вызвал Мидоля и Сержанта и потребовал, чтобы мы „глупостей“, как он изволил выразиться, не делали, ибо ответственность падает исключительно на него.

— Вы можете, — горячился он, — праздновать вашу русскую годовщину когда угодно, только не теперь. Выхлопочите у префекта разрешение и действуйте, как угодно. Поняли? Иначе я запрещаю, понимаете...

Нетерпеливый Сержант и дослушивать не стал „саль тип“ (стервеца), лишь обругал его, как только мог.

— Нельзя, ты понимаешь, нельзя: сорвет все, я его знаю давно, — орал парень, угрожающе размахивая кулаками, — только мы ему все-таки покажем!..

К часу дня биржа была полна участников. Стояли и на улице, запрудив проезд.

Мидоль и Сержант решили организовать шествие так: в его голове — красное знамя, а затем, в середине — остальные знамена.

— Это, чтобы, понимаешь, все буржуи видели: иначе эффекта не будет, — раз'яснял старый милитан Роберт.

В два часа решили двинуться. Но здесь, для характеристики тогдашнего приниженного настроения, нелишне рассказать один курьез.

В самый момент, когда уже вот-вот должна была раздаться команда „вперед", знаменосец красного знамени куда-то исчез, и никто не желал взять на себя эту обязанность. Забегали организаторы, подыскивая охотника нести знамя, но публика как-то уклонялась. Наконец, поймали меня. Сержант подошел ко мне, схватил за руку и поволок к голове колонны.

— Ты русский, бери знамя, тащи: оно же твое!

Отказываться не приходилось. Взял знамя и стал во главе колонны демонстрантов. Раздались стройные могучие звуки Интернационала. Несколько минут как-то потоптались, затем сгрудились, разом шагнули вперед и двинулись вглубь города.

Шли по рабочим кварталам. Шествие встречали здесь дружески, сыпались шутки, перебрасывались остротами, а кой-кто с панели подтягивал Интернационал. Общее внимание привлекало красное знамя. Ведь, столько лет рабочие кварталы не видели красного знамени — воплощения их борьбы. Вот какая-то старушка заковыляла вперед и все просила прочесть надпись. По бокам, танцуя на одной ножке, ребятишки прочитав надпись „да здравствует Советская Россия", звонко перебрасывались этим лозунгом. По тротуарам шли товарищи и раздавали газету „Попюлер". В газете в глаза бросался напечатанный во всю первую страницу огромный портрет Ильича. Рабочие брали газету с охотой.

Но вот мы вышли из рабочих кварталов. Тут уж началась буквально потеха. Красное знамя, портрет Ильича, надпись на знамени: „да здравствует Советская Россия" и редкие флажки союзников, где-то в конце процессии, — не могли не вызвать враждебных возгласов со стороны чистенькой буржуазной публики. На главной улице города, Рю Либерте, нашу демонстрацию освистали и ошикали. Но, видимо, она всех так ошеломляла и настолько была внушительна, что никто не решался завязать с нами скандал. Только где-то

на площади Революции пытался какой-то оголтелый лавочник, „истинный патриот", видимо, поклонник Клемансо, завязать свалку около знамени. Но его так решительно оттолкнули, что он отлетел в сторону, попал в об'ятия редкой цепочкой шедших по бокам полисменов, и те его быстро куда-то убрали.

Демонстрация удалась. Больше инцидентов не было.

Вечером на бирже труда состоялся митинг, на который пришли, помимо участников демонстрации, много еще товарищей с заводов.

И, впервые почти за пять лет, раздался мощный призыв к социальной революции, к борьбе. И стихийно, вызывая бурные аплодисменты, над всем собранием звучали гордые слова: „да здравствует Октябрьская революция!".

Этот митинг безусловно сыграл не малую роль в революционизировании настроения рабочих г. Дижона. Это с одной стороны. А с другой — дижонская демонстрация явилась первой демонстрацией во всей Франции, которая прошла под знаком октябрьской революции. Следом за ней, после первых известий о том, что она состоялась, произошел ряд демонстраций и по другим городам. Конечно, нельзя считать, что произошедшая демонстрация в Дижоне явилась, если не переломом, то этапом, от которого можно вести новое летоисчисление в истории французского революционного движения. Ничего похожего. Дижонская демонстрация — это только маленький штрих, подчеркнувший нароставшее в ту пору настроение пролетарских масс; штрих, на котором интересно остановиться, как на явлении, прекрасно характеризующем всю внутреннюю сущность психики рабочего класса. Но, как бы там ни было, все-таки следует сказать, что эта демонстрация будет отмечена, как один из ярких моментов в истории рабочих Дижона, так как она послужила причиной ряда крупных событий. Следует указать, что вскоре за этой демонстрацией произошла знаменитая забастовка „трех минут" на всей линии железной дороги Париж-Лион-Марсель. И нет сомнения, что на организацию этой забастовки, ставшей исторической в жизни железнодорожного пролетариата всей Франции, главным образом, повлияла наша демонстрация, потому что в Дижоне в то время находился центр всей организации железнодорожников этой линии, и

все ее руководители жили в этом городе. И не будь Октябрьской демонстрации, выявившей революционное настроение и тем самым окрылившей надеждой на успех Мидоля и товарищей, знаменитой трехминутной забастовки никогда бы не было.

Так, впервые, после долгих лет спячки и приниженности, рабочий класс Франции, разбуженный бурей Октября, начал выходить на торную дорогу классовой борьбы.

Вл. Курносов

Аким предатель

(Из воспоминаний о крымском подполье)

I

Черная буря прокатилась по Украине. Отхлынули наши полки под напором белых. Наряду с неописуемым геройством, подлая, низкая измена и шпионаж гуляли в рядах Красной Армии.

Где тыл?

Где фронт?

Не разберешь. Все перепутано. Нет у армий упора, нет у солдат уверенности. А белые наседают. Город за городом, рабочей кровью политые, у нас отбирают.

Хорошо тому, кто умер в бою!

II

Известно — в плену умирать не хочется. Удрал, в курятнике трое суток отсидел, а потом — где пешком, где поездом — до Екатеринослава добрался.

Пьяные в папахах скачут по улицам. Постегивают нагайками народ. А труженики, отстаивающие свою свободу, с высунутыми языками на фонарях болтаются.

Жуть и скрежет днем стоят над городом, а ночью — стоны, вопли, рыдания и пьяный хохот.

Давно „три дня победителя" кончились.

Законный грабеж, насилия и убийства второй месяц продолжаются.

Смерть, горе, позор...

III

Иорданская, 15. Оазис. Кон-спи-ра-тив-ка!! Оффициальной частью—столовой, на улицу, через открытые ворота, выперла.

Едят... А женщины из Красного Креста обеды разносят — больше в тюрьму, битком-набитую пленными красноармейцами.

Двумя серыми, застывшей стали, мечами сверкают глаза тов. Лантуха.

В соседней комнате — шу-шу, шу-шу...

Все силы на спасение товарищей.

Нужны деньги, деньги и деньги...

Редко, когда заговорит маузер.

Деньги!

Каждый день то того, то другого выкупят. Но больше гибнут. И деньги возьмут и убьют.

IV

Первые дни острого кошмара сменились хронической жутью. Доносы, допросы, „эксы“ [1]), провалы...

Любимец еврейской рабочей молодежи — Пиня Миркин, или, как любя называли его, — Миня Пиркин — тоже застрял в Екатеринославе, в результате измены. Недавно уехал в Бердянск, и уже имеются сведения, что с иностранными моряками связался, работу среди них ведет.

А молодой горячий коммунист — Зяма Гольдберг основался в Павлограде. Одну партию литературы крестьянам роздал, другую требует.

И всюду протянулись партийные ветви, закипела работа. Подымается пролетарское сознание, а белые своим диким террором только масло в огонь подливают.

V

К ограбленному, прибитому отцу явился надзиратель:

— Где сын?

— Давай сына.

— Сегодня на улице видели.

---

[1]) Налеты.

Пришлось уезжать. А куда поедешь? Ближе к фронту — контр-разведка свирепей, и екатеринославцев много. И решил в Крым ехать: никто не знает — работать можно.

Из партийного Красного Креста 400 рублей дали, а для грудного — 7 аршин сатина. И поехали втроем: я, жена и ребенок.

От „ксивы“ [1]) отказался: под моей фамилией — не ищут. Всего — краском какой-то. Зато документы, на всякий случай, лучше всякой „ксивы“: кавалер 3 крестов георгиевских и карточка, где, по работе в полковом комитете при Керенском, снят с офицерами.

VI

До Синельникова — ничего. Только малыш беспокоен. От волнений у матери исчезло молоко, сырой водой пришлось кормить и поить. Экзема высыпала. Все лицо у мальца гноится.

Надоело бородатому офицеру его плач слушать, подошел к матери, к ребенку руку протянул:

— Если не замолчит жидовское отродье, в окно выброшу!

Хоть мал был — четыре месяца только — а понял, видно, — замолчал.

В Синельникове жуткие дела творятся. На выбор убивают и грабят. Ответ один:

— Коммунист!

А известно:

— Все жиды — коммунисты!

VII

До отхода крымского поезда — 20 минут. Носильщик вещи из вагона выгрузил, а в крымский поезд не грузит. Поставил у ограды, с казаками шушукается, на меня показывает.

Понимаю: поезда уйдут, станет тихо, и убьют...

— Большевиком меньше.

Вещи к другим вещам приберут, потом подводой на Дон или Кубань отправят...

---

[1]) Документ.

На перроне офицер с тележкой возится. К вагону чемоданы на ней катил. Да колесо в обрез тротуара уперлось — ни взад, ни вперед. Пыхтит, потеет, а сдвинуть не может.

Ну, понятно, как же почтенному офицеру белогвардейскому не помочь?! Плечом уперся, колесо приподнял, толкнул,— и тележка у вагона.

В награду — жизнь получил. Позволил его благородие в пустом вагоне его особы всей семьей проехать.

А кучка обреченных на станции стоит, жмется к ограде, под охраной казаков.

Загрохотали скаты, побежала назад станция и сзади осталась вместе с кровавым кошмаром. Только, казалось, рвались оттуда, догоняли поезд предсмертные вопли изрубливаемых на капусту жертв „патриотов".

VIII

Симферополь. Явка — дом союзов, Салгирная, 2. В буфете полутемно. За столиками фигуры в кепках, в потертых пиджаках.

Чай, простокваша, булки и, редко, колбаса... С аппетитом едят за столами. А больше, нежели едят, говорят. И говорят тихо — шопотом:

— Шпи-ки...

За столом — суб'ект; на вид, старый рабочий. Все в нем „по форме". И будто бы не интересуется окружающим, а чувствуется в нем чужой.

Не ради чая пришел он сюда...

— Шпик!

Меж столами, приглядываясь ко всем, юнец лет 16-ти медленно гуляет. В глубоких глазах извечная скорбь изжившей себя нации притаилась.

И этот не спроста ходит. Но этот — свой. А почему — не знаю.

— Вы из Екатеринослава? — спрашиваю.

— А вы разве из Екатеринослава? — вопрос на вопрос.

Будто из простого любопытства расспрашивает, кто и что, кого знал в Екатеринославе, и, получив туманные ответы, ничего не сказав, уходит.

А через несколько минут, он вновь, меж столами. Возле меня останавливается, закуривает. А я знаю, что кому-то меня показывает.

Оборачиваюсь. Глаза упираются в чьи-то пристальные, усталые, в рамке белого лица, на меня уставленные глаза. Еще минута — человек поворачивается, уходит... И юнец исчез. А потом с дверным скрипом пришел тот, кого меньше всего я мог ожидать — Зяма Гольдберг.

И узнал я от Зямы, что павлоградская группа провалилась. Чудом ушел он от контр-разведчиков, а теперь работает в организации, больше по боевой части. В партии кличка „Зиновьев", документ — „Воловик".

IX

С уходом Зямы, я почувствовал себя частью „боевых сил ревкома". Зяма назначил начальником полусотни; когда потребуется — вызовут.

Среди белого дня грянул с замаскированных газет гром — покатились белые из России.

— Положение восстанавливается,— это писк официального сообщения „штаба командующего вооруженными силами". И так каждый день, пока в Симферополе не появились рожи харьковских буржуа, а потом и екатеринославских.

Достойный реванш Красной армии.

На стенах появились списки не только повешенных большевиков, но и убитых в разных боях офицеров и вольноопределяющихся.

Активность подпольных организаций возрастала, по мере получения бодрых вестей об успехах красных войск.

X

Ревком стал издавать печатные приказы. Так, мол, и так, мол, приказываю, и все. Испугались сначала белые. Выжидают. А как увидели, что за приказами действий нет, успокоились.

Чтобы напечатать приказы, много геройства надо было.

Пушкинская улица кишмя кишит белогвардейской публикой. Офицеры-бутончики — гусарские сабли по земле волочат, малиновым звоном шпор дам забавляют. Кафе. Музыка: канкан, танго... Тоже много офицеров.

А рядом замухрышка-типография примостилась. Вывеска, ритмический стук машин — совсем не у места, — рядом с кафе.

Но нашим какая разница?! Дело делать надо.

И вот на этой-то Пушкинской улице, рядом с шикарным кафе, полным офицеров, днем заходят в типографию. Наган хозяину в физию:

— Не беспокойтесь, наборщик у нас свой!

Один у двери на карауле стоит. Впускать — впускает, а выпускать — никого. Другой американку крутит, третий бумагу подает, кипит работа. Отпечатали, рабочим для просвещения роздали и хозяину на память дали. И спокойно с „заказом" ушли.

XI

А когда понадобились деньги, предложили буржую, табачному фабриканту, в счет налогов законной власти, солидный аванс внести.

Не внес — далеко, мол, красные.

В пять часов вечера в контору завода семеро явились:

— Ключи!

— У брата.

— Где брат?

— Дома!

Пошли за братом.

Днем, на углу Салгирной и Кантарной улиц, среди стражников и офицеров, в двух шагах от страшной „Ялты" (контр-разведка), шагает табачный фабрикант под конвоем большевика.

Через 15 минут на фабрику доставили.

А ребята с рабочими беседуют. Из нескольких сот ни одного предателя не нашлось.

У фабрикантова брата тоже ключей не оказалось. Зря водили.

Надоело с фабрикантами возиться. Запрягли фабричную клячу в дроги, выволокли кассу, погрузили и по людной Кантарной улице вверх повезли.

А до леса 20 верст.

Перестал дрожать владелец — шум поднял.

Досужий вольнопер стрельбу по нашим открыл.

Пуля в живот — свалился.

Еще офицера принесло. Тоже стрелять начал, и стражник в дело ввязался. Суматоха, тревога.

А наши кассу окружили, шагом лошадь тянет вверх по улице, медленно идут, отстреливаются.

Одному нашему пуля в бок угодила, да зато офицеру — в голову. Захрипел, ноги вытянул.

Тихо стало на улице — разбежались белые.

Высланный в погоню конный отряд с самого начала, чтобы в драку не ввязываться, в противоположную сторону умчался.

Но кассой все равно не воспользовались.

Колесо за обочину дороги где-то на краю города зацепилось, касса в яму свалилась... До леса далеко, погоня близко... Бросили и скрылись.

XII

Шум по городу прошел — пленных большевиков привезли.

Высыпали мещанишки невиданных зверей — борцов за свободу — смотреть.

А в вагонах — наполовину живые с мертвыми разбавлены. Кто дышит — голоден, наг, замучен.

Живых красноармейцев прямо в тюрьму отправили. Мертвых в поле, в одну яму поскидывали. Зато большевиков из пленных, под конвоем, чуть ли не целой дивизией, в „Ялту“ отправили.

Но в „Ялте“ места не оказалось. Временно отправили в район государственной стражи.

А через час по улице еще двух повели. Один мужчина и баба с ним. Долго купчихи пальцами вслед тыкали:

— Ишь, прости господи, женщина — и туда же.

Привели вторую партию в тот же район:

— Примите, мол, еще пленных.

Дежурный в окно видит — все честь честью, с книгой, а под конвоем большевики самые настоящие — даже баба. Пустил:

Маузер к виску — ни с места!

Трех стражников связали, своих освободили...

XIII

И много сказочного, невероятного можно было бы рассказать о крымских боевиках и о застрельщике в их делах— Зяме Гольдберге.

Но наша тема — не только о геройстве,— о горе, ужасе и праведной крови говорит она.

Измена подорвала единство организации. Отчаялись белые силой покончить с организацией и пошли на последнее — на подрыв изнутри.

Как-то вечером Зяма сообщил мне, что дело близится к концу. Из штаба 13 красной армии прибыл для установления связи, с большим мандатом, старый боевик Аким. Он уже работает в ревкоме. Теперь все пойдет по-иному.

С приходом Акима, действительно, все пошло по иному. Раньше всего террор прекратили.

— Разве нам, законной советской власти, удобно применять жалкие заговорщицкие методы борьбы — террор?

Так говорил Аким, и слушала его молодежь из ревкома: мандат реввоенсовета 13 армии — не шутка!

XIV

И пошло. Наши молчат, а белые орудуют. Татарская организация к ним в руки попала, 14 молодых стойких борцов попали в „Ялту“, а через неделю в поле изрубленные, исковерканные трупы нашли.

Потом за „комсу“ взялись. Со списком ходили из квартиры в квартиру, из предприятия в предприятие. На месте избивали, уводили и по суду или без суда убивали.

По улицам, где были конспиративки, начались облавы. Самих конспиративок не трогали, а на улицах проходу не давали. Уже и в доме союзов не так безопасно. Мало шпиков,— официальные облавы пошли.

А потом придавило мозги страшной вестью. Провалился феодосийский с'езд.

Старый приятель, всем екатеринославским рабочим известный, товарищ Хмельницкий — „Хмилька“ — на с'езде попался, в тюрьме отравился. Другой с третьего этажа, рассказывали, спрыгнул, убился. Третий товарищ стеклом себе горло перерезал. Гибли геройски, но товарищей не выдавали.

Аким продолжал свое каиново дело. За почетным столом ревкома, вместе с работниками, „меры против белого террора“ принимал.

XV

Решили ребята живыми не даваться. Всякий в руке гранатку — „бутылочку“, как колбасу, в бумагу завернутую, носил.

А Красная армия застряла на Перекопе. Близко, а не может помочь.

Без особой надобности на улицу старались не показываться. Конспирация пошла одиночная. Друг друга начали сторониться. Только кое-где в отдельных спаянных группочках еще тлела какая-то чуть заметная боевая искра.

И Зяма исчез.

Пришлось связь с организацией держать через товарищей Гутшабеса и Каца — работников-коммунистов союза рабочих по коже, где я работал секретарем.

От них я узнавал все, чего не было в белых газетах. Искаженные, изломанные, обросшие мещанскими комментариями, слухи, попадая в сознание, поглощали действительное представление о вещах. Поэтому, информация Гутшабеса и Каца была, как нельзя более, кстати.

В один прекрасный день, всегда суетливый, с мокрыми, но веселыми глазками, маленький Гутшабес предупредил меня:

— Хавер [1]) Кальницкий. Вы теперь на улицу не ходите — облавы будут несколько раз в день.

Я и без того на улицу не ходил.

Днем самым добросовестным образом исполнял дела союзные, а вечером тушил свет, растягивался на жестком столе и думал... Просыпался в 4 часа утра. Чтобы не попасться на глаза уборщице, приходилось на время уборки иногда час, а иногда и два отсиживаться в уборной.

Только после ухода уборщицы возвращался я в канцелярию. „Оффициально“ устраивался за своим столом и принимался за работу. Сначала темновато, потом солнышко яркое пригреет, присветит, а через часок и буфет откроется. После чая, со свежей головой, опять за работу принимаешься.

[1]) По-еврейски — товарищ.

Целый день в союзе обычная суета. Взносы, конфликты и с буржуйчиками беседа. Почуяв приближение красных, зачастила эта публика в союз. Больно уж хотелось билет союзный получить.

Известно, при большевиках билет — первое спасение. Но мы с ними много не разговаривали. Коротко:

— Вон! — И все.

XVI

Выросла нервность в душный кошмар, сжала крымские города, током пронизала каждую жилочку, страхом выперла глаза обывательские.

Каждый день новые нелепые слухи. И рядом — каждый день новые приговоры.

Расстрелы, пытки, убийства в застенках, бесправие... Не только коммунистов уничтожали, не только бедняков притесняли, но и богатых, под тем или иным предлогом — лишь бы караты на всякий случай достать.

С Кубани и Кавказа „доблестные" казачьи войска, бежавшие морем от наших, наводнили гнойным сонмом Крым.

А наша армия неоднократно пыталась озера штурмовать. Удалось даже раз через непроходимый „Сиваш" переправиться. Поднялась паника в Симферополе невообразимая. Офицеры в штатское переодевались, буржуи на чем попало к портам устремились, а валютчики свое дело знают — за бесценок донские, колокольчики, деникинские, керенки и думские начали продавать — золото собирать.

Но мобилизовали последние силы белые. Гимназистов безусых, студентов пьяненьких, солдат отпускных и легко раненых в английские шинели одели, винтовки в руки сунули и послали против наших войск. И эта рвань, с помощью английских батарей, отбила наше наступление, а все потому, что связь Аким держал. Не были уверены движения Красной армии. Наверно, не знали о развале белых.

XVII

Однажды, после обычной утренней отсидки в уборной, возвратясь в канцелярию, я застал Лидского, Каца и Гутшабеса — правление союза рабочих по коже.

Свежие волнующие новости: Деникин передал власть Врангелю. Англичане пришлют белым подкрепление. Материк белыми оставлен окончательно. Но, так как в Крыму, благодаря этому, собралось много войск, с помощью англичан возможно новое наступление на Советскую Россию.

Эти планы строились белыми в то время, когда Крым задыхался в тисках голода и бесправия. Больше 100 тысяч мародеров в английских шинелях бесчинствовали в городах, в селах и на дорогах. Без наступления положение белых стало бы невозможным. И так приходилось с боем добывать провизию. А англичане, вместо помощи, за свое оружие и снаряжение увозили из Крыма последнее зерно.

Не только рабочие, не только крестьяне, но и немцы-колонисты и даже городская буржуазия возненавидели белых.

Странный парадокс. Буржуазия начала мечтать о большевиках.

— Пусть хоть большевистский порядок, лишь бы порядок!

Такой формулировке, в значительной степени, содействовали распространившиеся среди купечества слухи, что в Советской России разрешена свободная торговля.

Но Врангель был глух ко всем этим настроениям. Он добровольно Крыма не покинет. Сидя на вулкане, он мечтает о сладком малиновом звоне сорока сороков московских церквей. На каждом дереве ему мерещится повешенный коммунар.

И чтобы продлить сладкий мираж день и ночь вешали „шпионов-большевиков“ — больше непричастных к войне граждан, виновных только в том, что их физиономии не понравились контр-разведчикам, что их руки покрыты мозолями.

XVIII

Особенно по этой части отличался генерал Слащев. Возможно, что теперь он и раскаялся, но тогда его именем пугали детей, тогда, при приближении его поезда к Симферополю и Севастополю, все, не хулиганы, старались не показываться на улицах, отсиживались на чужих квартирах, лишь бы не попасть в его лапы.

Каждое посещение „комкора 3“ кончалось увозом ряда лиц „по списку“.

Устраиваемые в честь возвратившегося командира оргии в Джанкое — ставке Слащева — украшались гирляндами повешенных рабочих.

Был случай, когда после очередного увоза рабочих, крымский совет профессиональных союзов сделал попытку к их спасению. Выбрали 9 представителей союза. Поехали они в ставку, и... сами очутились на столбах.

Меньшевики, преобладавшие в союзах, заволновались. Много говорили, еще больше спорили; наконец, как полагается, выбрали стачечный комитет, об'явили всеобщую забастовку и... целых полдня легально бастовали. Показали белым кукиш в кармане.

XIX

Однажды, когда я, по обыкновению, устроился на постели из газеты, на жестком столе, настороженный слух предостерег: кто-то крадется в корридоре. Тихий стук — царапанье. Открываю. Передо мной Зяма. Страшно побледнел, глаза ввалились, спина сгорбилась, в руках неизменная „бутылочка", в газету завернута. Из кармана выпирает другая, наган за пазухой, браунинг под курткой.

Вошел серой мышью, крадучись. Палец к губам приставил — ш-ш-ш!.. Потом долго в окно глядел, прислушивался. А когда немного успокоился, сел и начал рассказывать.

В тот момент, когда время подошло выступать — организация разгромлена. Фуля (т. Курган) уехал в Евпаторию. „Барон" куда-то удрал. Связь разорвана. Предательство со всех сторон опутало работников. Друг другу не доверяют, один о другом не знает.

Предпринимается последняя попытка восстановить работу. Завтра должно состояться заседание оставшихся активных работников, на котором будут приняты решительные меры.

В лесу тоже развал. Начавшееся было об'единение отрядов, после разгрома организации, приостановилось.

„Черная лапа" с 300 людьми ждет распоряжений. Если мобилизовать всех членов организации и КСМ в городе, то до 500 человек наберется. К тому же в тюрьме не меньше 300 боеспособных коммунаров. Оружия достаточно. Надо выступать.

С намерением, во что бы то ни стало, добиться приказа о выступлении, ушел от меня Зяма.

Долго лежал я и думал. Под утро уснул. А во сне брал тюрьму, защищал вокзал и над всеми большими домами Симферополя видел красные знамена.

XX

День принес новый кошмарный сюрприз:.

Прибежал в канцелярию посеревший, в лихорадке трясущийся, Гутшабес. Брызжа слюной, проглатывая слова и заикаясь, он быстро-быстро начал рассказывать:

— Собрался в парке ревком. Пришли, как на пикник. Уселись на траве, закусывают — дела решают. Кто бы мог подумать что-нибудь? Так нет. На это самое место, в это самое время должна нагрянуть контр-разведка! Накрыла всех, четырех арестовала... Хорошо, что Зяма и Аким не растерялись, открыли по контр-разведчикам стрельбу и, хоть ранили Зяму в ногу, но Акиму и Зяме удалось уйти. А где они сейчас, никто не знает.

Скрежетом зубов не поможешь.

Надо искать предателя. Но Гутшабес безнадежно развел руками:

— Аким установил наблюдение за всеми членами ревкома, но до сих пор — ничего подозрительного...

XXI

На фронте — затишье.

От штаба командующего вооруженными силами:

— Слабый артиллерийский обстрел Армянска. Действия разведчиков у Чонгарского моста. Наши доблестные части уничтожили роту противника, пытавшуюся перебраться через „Сиваш“...

И в таком роде каждый день.

А третью страницу „Последних Новостей“ всегда занимал длинный, черный, страшный список.

Целковый досужему репортеру всегда на водку пригодится. И он писал:

— Пойман большевик Х., резавший офицеров и посыпавший раны солью.

— Удалось арестовать большевика Л., с адским хохотом вливавшего в горло замученным им офицерам раскаленное олово.

— Задержана большевичка Н., прибывшая для вербовки партизан в наш тыл. Отобраны: бомбы, маузер и большое количество патронов. По сведениям контр-разведки, раньше служила в ЧК, собственноручно на глазах отца-офицера убила его двухлетнего сына...

И так далее, без конца — гнуснейшая, мерзкая клевета провокаторов.

И в это-то время нам нечем ответить. Организация разгромлена. Если кто и уцелел, его теперь днем с фонарем не найдешь. Конспиративки — пусты. Кто мог, „частным образом" спрятался.

В руки контр-разведки попали не только все адреса, но и штампы и печати организации. Попасться с „липой" — значит попасть на „вешалку". У кого документы сомнительные, кому в надежном месте, чтобы никто — ни из своих, ни из чужих — не знал, спрятаться не удалось, тот уходил в лес.

Иногда такой новоиспеченный лесовик, прибывавший в город по поручению отряда, навещал меня в союзе. Много интересного приходилось мне слышать в эти редкие дни:

— Лес в горах непроходим. Сотни направлений. Масса пещер, тропинок, лазеек, убежищ. Захочешь лежать тихо: над тобой пройдут — не заметят. А захочешь отбиваться: воля твоя — от сотни один отобьешься.

В отрядах много горных крестьян. Как могут, с белыми дерутся. Через них отряды связь с деревнями горными держат. Крестьяне своей волей повстанцам помогают. Кормят, о продвижении белых предупреждают. Много в горах своих ребят, да раз'единены, а собрать, об'единить их до сих пор не удается.

Вот, если бы прибыл в горы кто-нибудь от советской власти — того послушали бы. Потому, что советская власть. А ревком, что же ревком? — Много говорил, мало сделал. Не доверяют ему ребята.

Говорят, Аким в горы собирается. У него мандат от советской власти есть. Ему, наверное, поверят. Об'единит отряды, подымет крестьян горных, и тогда — конец белым.

XXII

Опять этот Аким!

Куда ни ткнись все Аким да Аким...

И не видел я его никогда, и понятие о нем имел только по рассказам товарищей, а почему-то возненавидел его всей душой.

XXIII

В доме союзов, в задней стороне, внизу, в маленькой, сырой, темной клетушке ютилась семья „парикмахера Левы". Активного участия в работе организации, как и я, Лева не принимал. Тоже ждал приказаний. Но исправно гримировал и брил боевиков.

После разгрома организации, Лева осунулся — не узнать. Очень страдал.

Страдания нас сблизили. К тому же между нами кровная связь оказалась. Вспомнили: в Екатеринославе, в 1918 году, перед приходом немцев, по приказу революционного штаба, наша дружина разоружала засевших в гостинице „Пальмира" антисоветских анархистов. При штурме моя пуля угодила Леве в руку. Тогда он был анархистом, а теперь эта рана явилась цементом дружбы и доверия, перед лицом ненавидимого до бешенства врага.

Часто, когда, потушив свет, я укладывался на жестком столе, ко мне осторожно, крадучись, пробирался Лева.

Мечты о восстановлении Ревкома потухли. Но ночи страдания вдвоем с Левой родили новую мысль о создании террористического кружка. Особо от организации, подальше от трясины предательства. Немногочисленный. Для наших задач нам много не нужно. Два-три спаянных человека лучше, чем сотни, зависящие от подлости или слабости одного.

Решили с Левой никому, даже женам, о наших намерениях не говорить. Надо добывать оружие. Мы еще покажем белым, где сила. Пусть узнают они цену крови наших братьев!

Пусть темные переулки станут могилой контр-разведчиков! Пусть „Ялта" дрожит от взрывов наших мин и гранат! И когда заколеблется почва под их ногами и почувствуют они ужас смерти так, как чувствовали их тысячи замученных ими рабочих и крестьян, тогда пусть убьют нас!

XXIV

Тихая ночь дремлет. Лениво улыбается заплывшая зеленоватая луна. Отдаленный грохот пролетки, стук запоздавшего буржуа в калитку, да пьяный смех кокотки, с офицерами „на квартиру" возвращающейся.

Тихо... Дежурный стражник на посту во весь рот зевает, затылок почесывает, носом в землю уставился, меряет мостовую поперек.

А забор в одном месте почернел, разбух... Две тени скользнули на дороге, мелькнули и к стражнику присосались. Испытанный прием джиу-джитсу—коленом в поясницу, руками вокруг горла: притянул — ни с места! А Лева рот рукой зажал. По морде раз, другой — хляс-хляс... Потом наган вынул из кобуры, в нос стражнику ткнул — молчи, мол.

Тихая ночь дремлет, луна зевает, и эхо спит — не разносит наших мягких шагов. Драгоценная ноша в кармане. Наган несем. А стражник далеко остался. Дрожит, поди, до сих пор еще.

XXV

Стали мы просить Гутшабеса добыть для нас оружие понадежнее.

— Пойду к Акиму: он знает, где склады. Для такого дела, наверное, даст.

— Нет, Гутшабес, пожалуйста без Акима.

Обиделся Гутшабес.

— Что вы, Акиму не доверяете? Когда все разбежались, Аким один за весь Ревком работает и смерти не боится. А вы — только без Акима. Молодые еще. Если не через Акима, так я ничего не знаю. Доставайте сами.

У нас с Левой кое-какой опыт уже есть. Лучше меньше, да вернее. Но события созрели раньше, чем пополнился наш арсенал.

Все тот же, вечно суетящийся, с грязноватым носом, слезливый и плюющийся, но самоотверженный товарищ — Гутшабес явился однажды с новой боевой задачей. Во что бы то ни стало, надо достать деньги. Зяма прислал за ними. Хочет в Ялту переехать — лечиться. Никто не знает, где он. Посланный ждет. Надо доставать деньги. И, попросив нас ждать его прихода, Гутшабес быстро засеменил короткими

ножками добывать деньги. Через 2 часа Гутшабес гордо, самодовольно потирая руки, петухом ходил по канцелярской комнате. Деньги отправлены.

XXVI

Как-то не обратили внимания на то, что у всех на глазах, на рассвете, на Ялтинскую дорогу выехал конный отряд.

— Мало ли для чего белые гонят свою конницу?

Но наша беспечность дорого обошлась. Кавалерийский отряд в 15 сабель был послан исключительно для поимки Зямы.

Если бы кто-нибудь мог предположить это, Зяма жил бы. И как знать, может быть до сих пор работал бы со свойственной ему огненной энергией и самопожертвованием на благо трудящихся бедняков.

Всего три часа тому назад Гутшабес поздравлял себя и нас с благополучным от'ездом Зямы. А теперь стоит он опять перед нами с трясущимся подбородком и с неестественно сухими глазами:

— Ай, ай, ай... Опять измена! Прямо не знаю, что делать. Представьте себе, Зяму арестовали на дороге. С ним арестована Фаня (работница партийного Красного Креста, сопровождавшая Зяму).

— Остановили линейку. Зяма, конечно, не догадался, что его ищут. Думал — случайность. А контр-разведчики по одному проверяют документы и вежливо просят в сторону отойти.

— Начал Зяма отходить, захромал, конечно... Ну, они сразу на него накинулись, обезоружили и только что, вместе с Фаней, привели в „Ялту".

После этого известия трудно было усидеть на месте. Тоска вышвырнула меня на улицу. Машинально отправился вдоль по Салгирной, к „Ялте".

У входа на часах вольноопределяющийся стоит. Еще одно потрясение. Узнаю в нем бывшего старшину команды управления нашего артиллерийского дивизиона в Екатеринославе... Всегда пахло от него белым. Но подумать, что он контр-разведчик, никто не мог.

Я иду прямо. Пусть узнает меня, все равно. Взад и вперед у входа в „Ялту“ прогуливаюсь. Вольнопер заметил, что-то вспомнил, трет лоб, всматривается. И я смотрю на него — пусть узнает... Не вспомнил...

XXVII

Вечером опять совещались с Левой. И решили: когда будут Зяму вести на казнь, закидать гранатами стражников. Кто помешает — маузером прикончить, автомобиль приготовить и в лес с ним уехать.

Теперь пусть через Акима, хоть через самого дьявола, Гутшабес достанет нам оружие.

На этот раз Гутшабес развел руками:

— Что я могу сделать? Все оружие у Акима, а нам кажется, что он провокатор. Если он не провокатор, так он исполнит наше задание и вечером приведет 50 человек к „Ялте“, сделает налет и освободит Зяму. Если он провокатор, так все пропало. Потому что оружие у него в руках, деньги, адреса, квартиры...

Ночью налета на „Ялту“ не было. Аким скрылся из сферы наблюдений оставшихся активистов. Стало ясно: Аким — провокатор. Это побудило скрыться Гутшабеса, Каца и других, еще считавших себя нерасшифрованными.

Мы с Левой поняли, что попытка освободить Зяму, при самых лучших условиях, имела один шанс против 99. Но без гранат, без хорошего оружия и денег — ни одного шанса на успех не было.

XXIX

Не смотрели больше мы друг другу в глаза и не разговаривали.

Пришел день, когда прибежал Лева и, глядя в землю своим единственным глазом, глухо, хрипло сказал:

— Повели на суд.

Улица пуста. Народ толпится по углам. Напряженные лица — настороженные глаза.

Впереди, поперек всей улицы конные движутся. Шагах в 15-ти за ними ряд пеших солдат. Вдоль по улице на обоих тротуарах на пол-версты цепи растянулись. А потом, в середине, окруженных со всех сторон солдатами и офицерами,

увидели своих товарищей, осужденных, после бутафорского суда, к смертной казни.

Встретились мои глаза с глазами Зямы. Улыбнулся, как бы ободрить хотел, головой кивнул. И вдруг:

— Вставай, проклятьем заклейменный! — словами Интернационала бросил вызов выглядывавшей из-за углов толпе мещан, окружившим его зверям и дегенератам. Точно что-то передернуло конвой. Товарищи, шедшие с Зямой, подхватили Интернационал.

Но начальник конвоя подал знак, и солдаты, как хрюкающие свиньи, вяло подхватили:

„Смело мы в бой пойдем за Русь святую и всех жидов побьем, сволочь такую".

И в просветы этой нелепой дикой песни врывалась слабо, но твердо, отдельными местами песнь осужденных:

„С Интернационалом воспрянет род людской".

На утро свинцовым туманом придавило город. В центре смеялись и пили вино. На окраинах, в рабочих кварталах, люди тряслись, не от страха, а от злобы. Истерики, припадки, скрежет сильных и стоны слабых. Глаза у всех как бы застыли. Ледяными и влажными стали. И все смотрели в одну точку, куда-то далеко, не видя, не слыша собеседника.

Два русла на главной улице, два людских потока к вокзалу и от него катятся. Туда идут — еще кто-нибудь смеется. Оттуда возвращаются — уже никто, даже самый заядлый буржуа, не смеется, не щелкает пальцами и не поет про себя храбро марсельезу.

А на длинной Вокзальной улице, окаймляя площадь, два ряда железных столбов с фонарями расставлены. И на этих столбах — с одной стороны три, с другой стороны четыре — большевики повешены.

Все без одежды. А Зяма совершенно нагой, чтобы рану видели и чтобы православным не посчитали. Тонкая крепкая бичева вдвое вокруг шеи змеей в тело впилась. У артерии какой-то проволочкой петля перетянута. Головы свинцом вниз тянутся. Багровые лица, а языки меж зубами ущемлены. Синие руки, синие распухшие ступни. Все тело как-то вытянуто, напряжено.

Умерли во имя лучшей жизни на земле. Принесли себя в жертву справедливости и человечеству. И перед смертью звали братьев:

— Вставай, проклятьем заклейменный!..

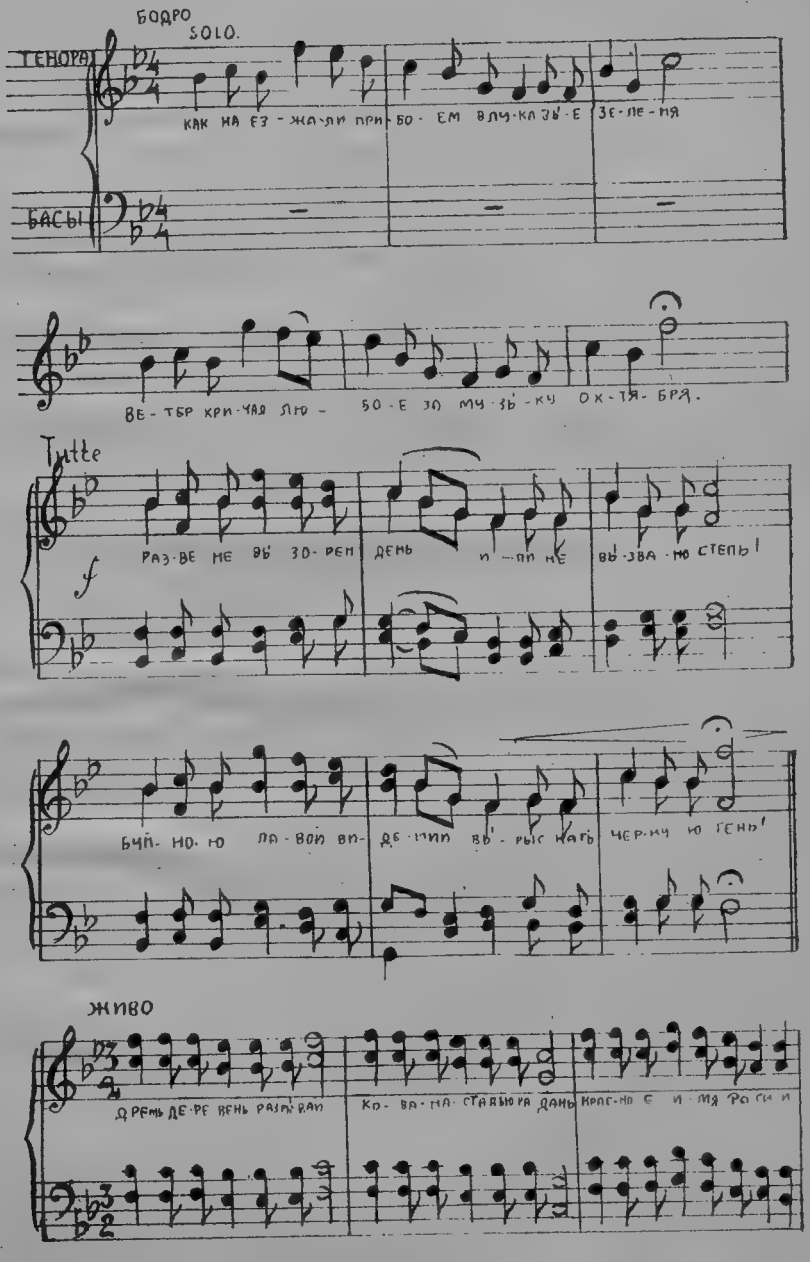
Они умерли, но у восставших „проклятых“ память о них будет жить вечно.

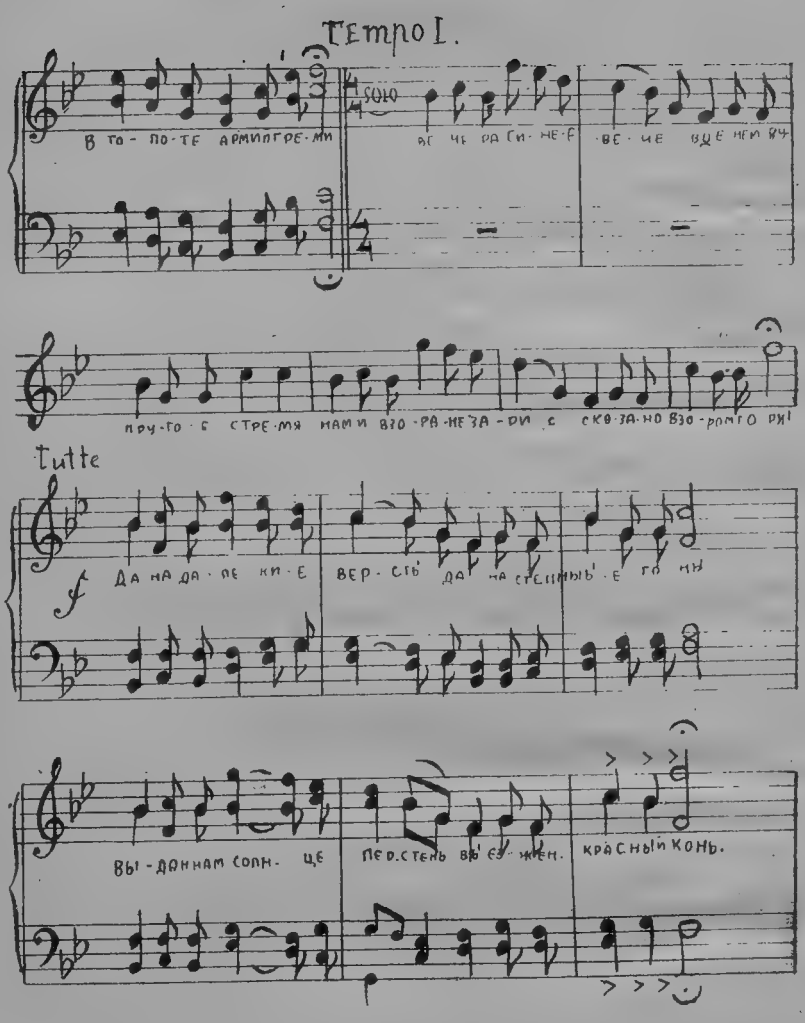
Я. Кальницкий

КРАСНАЯ ПЕСНЯ

Слова Гр. Петникова

Муз. Б. Яновского





Tempo I.

В то-по-те армии гре-ми

Solo

ве-че ра-ги-не-е

-ве-че вде-нем вы

пру-го-е стре-мя нами взо-ра-не за-ри с ска-за-но взо-ром го-ри!

Tutte

f

Да на да-ле-ки-е вер-сть да на степны-е го-ны

вы-даннам солн-це пер-стень вы-ез-жен. красный конь.

Содержание

ПОЭЗИЯ И ПРОЗА

	Стр.
Красная песня — *Григ. Петников*	5
Октябрь на Неве — *Григ. Петников*	6
Рассказы об Октябре — *Всеволод Иванов*	9
* * * — *Павел Шлейман*	22
Спартак — *С. Радугин*	24
Мельник Отопай — *А. Фролов*	31
* * * — *Петр Краснов*	46
Первое „ура!" — *Ив. Ванин*	47
Освобождение — *Багрицкий*	55
Степка - партизан — *Василий Рунин*	57
Коммунарка — *А. Сорокин*	77
Против ветра — *Петр Жаткин*	82

СТАТЬИ

Подготовка Октября — *В. Чубарь*	93
Ленин — Октябрь — *Д. Лебедь*	109
Октябрь и искусство — *Р. Пельше*	118

ВОСПОМИНАНИЯ

Водоворот — *В. Затонский*	131
Октябрьская революция в Киеве — *А. Золотарев*	148
Эпизод борьбы — *А. С.*	169
Первые дни в Смольном — *Евгения Адамович*	177
Первая годовщина Октября во Франции — *Вл. Курносов*	185
Аким - предатель — *Я. Кальницкий*	196

3p50k

ВОЗВРАТИТЕ КНИГУ НЕ ПОЗЖЕ
ОБОЗНАЧЕННОГО ЗДЕСЬ СРОКА.